

Р
2489

ГРАНИ

GRANI

Цена 6 марок (6 DM)

52

1962



Postverlagsort: Frankfurt/Main, Dezember 1962

ОТ РЕДАКЦИИ

Нам прислали из России один экземпляр журнала «ФЕНИКС».

Что это такое?

«Феникс» — подпольный рукописный литературный журнал московской молодежи. Имена редактора или редколлегии не указаны. Из многочисленных авторов известны лишь умерший Борис Пастернак и здравствующий ныне молодой поэт Иван Харабаров. Можно предполагать, что многие произведения были получены не непосредственно от авторов, а собраны составителями «Феникса» среди любителей свободной литературы, передающих из рук в руки неопубликованные рукописи.

«Феникс» — один из многочисленных подпольных журналов, распространяющихся сейчас по России. Мы решили опубликовать полученный нами номер «Феникса» полностью — потому, что мы видим в нём ценнейший документ нашего времени. Это — идеологический портрет современной российской молодежи. Он совершенно не похож на тот, который преподносит казенная пресса. Журнал дает горькую и трезвую оценку нашей действительности, он полон активного протеста против неё. Поиски нового в области искусства и утверждение положительных ценностей, прежде всего ценности человека, — характерны для многих произведений, напечатанных в «Фениксе». И, — что главное, — радикальная революционность определяет гражданское и политическое лицо журнала.

Говорит Молодая Россия. Говорит Москва. Слушайте её!

Редакция

Н. НОР

ПОИМ ПРУЖИНЫ

Нет, но нам разбивать минолетки
В середине зеленых колонн!
Мы для этого слишком поэты,
А противник наш слишком силен.
Нет, но в нас возродился Ганден!
В тот гудящий, решительный час!
Мы воем больше по части идей,
А любовь — она не для нас.
Нет, но нам поднимать минолетки!
Но для самих ответственных дат
Создавала эпоха поэтов,
А они создавали солдат.

О ЧЕМ ЗАПИСАЛИСЯ РУБЫ,
КАКОЕ СЛОВО ИМ ХОТЕЛОСЬ?

ФЕНИКС
Москва, 1961г.
№ I

ПРИНИМАТЕ ПРАВДУ, ЧТОБЫ СЛОВО ЖИЛО;
ЧТОБ ПОД ВУАЛЬЮ ПОКРЫВАЛА
МЫСЛЬ, ЗАКРУЧЕННАЯ, КАК ПРУЖИНА,
ВДРУГ ПРИКОСНУВШИХСЯ —
УБИВАЛА.

Стефан Цвейг

ПОЛИФЕМ

Пер. с нем. Н. Нора

Уже три года живем мы
В твоей пещере,
В пещере ужаса, тьмы и дурных предчувствий,
Полифем,
Ты, вечно голодный, пожирающий людей великан,
Чей глаз,
Жестокий, стальной,
Не знает блаженной слезы.

День за днем
Врывается твоя волосатая рука
В наши ряды,
Ощупывает наши пронизанные ужасом
Части тела,
Отрывает
Друга от друзей,
Брата от братьев.

Разбивает
О скалы судьбы,
Череп, наполненные любовью и теплыми мыслями,
Дела, возбужденные прелестью жизни,
А твоя огромящая звериная пасть
Жадно глотает священное мясо
Людей.
Как звери в клетке,

Содрогаясь во тьме
Кровавой пещеры,
Сидим мы нагими
И спрашиваем друг друга глазами рабов:
«Когда ты? Когда я? Когда последний
Из людей
Попадет в брюхо
Жиреющего
Бесчувственного зверя?»
Наши щеки обмякли
От пролитых слез,
Наши глаза
Потускнели от каждодневного позорного зрелища,
Железный обруч
Сжимает наши гортани.
Когда ты воспеваешь красоту земли,
Мы не можем говорить,
Мы только стонем.
Как птицы во время бури,
Согреваемся мы,
Прижавшись друг к другу.
Но мы сжимаем кулаки
Так, что кровь выступает из-под ногтей.
А он,
Пьяный от крови,
Обнаглевший от мяса
Священных людей,
Валяется в растяжку
На вечной земле.
С утра до полудня
Лежит он, растянувшись,
Людоед,
Выкорчевывает леса,
Разрушает города
И смеется
Холодным глазом, не знающим слез,
Прямо в небо,
Где боги-сони все спят и спят.
Но берегись, Полифем!
В наших душах

Незаметно разгорается
 Пламя мести:
 Дыхание мертвых раздувает оно в пожар.
 Мы уже готовим ножами кол,
 Кол для твоего глаза,
 Жестокого, холодного, не знающего слез!
 Берегись, берегись, Полифем!
 Мы уже обжигаем в огне острие.
 Жри, пей, объедайся, Полифем,
 Но когда ты заснешь после жратвы,
 Мы загоним кол в твой череп.
 И, перешагнув через труп,
 Выйдем мы,
 Братья народов, братья времени,
 Из пещеры ужаса и крови
 Под вечное небо земли.

Б. Пастернак

ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ

Гул затих. Я вышел на подмостки,
 Прислонясь к дверному косяку,
 Я ловлю в далеком отголоске,
 Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
 Тысячью биноклей на оси.
 Если только можешь, аве отче,
 Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый
 И играть согласен эту роль.
 Но сейчас идет другая драма,
 И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
 И неотвратим конец пути.
 Я один, всё тонет в фарисействе.
 Жизнь прожить — не поле перейти.

Б. Пастернак

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ

7

Я не буду описывать моих отношений с Маяковским. Между нами никогда не было короткости. Его признание меня преувеличивает. Его точку зрения на мои вещи искажают. Он не любил «Девятьсот пятого года» и «Лейтенанта Шмидта» и писание их считал ошибкою. Ему нравились две книги: «Поверх барьеров» и «Сестра моя жизнь».

Я не буду приводить истории наших встреч и расхождений. Я постараюсь дать, насколько могу, общую характеристику Маяковского и его значения. Разумеется, и то и другое будет субъективно окрашено и пристрастно.

8

Начнем с главного. Мы не имеем понятия о сердечном терзании, предшествующем самоубийству. Под физической пыткой на дыбе ежеминутно теряют сознание, муки истязания так велики, что сами невыносимостью своей близят конец. Но человек, подвергнутый палаческой расправе, еще не уничтожен. Впадая в беспомощность от боли, он присутствует при своем конце, его прошлое принадлежит ему, его воспоминания при нем и, если он захочет, может воспользоваться ими, перед смертью они могут ему помочь.

Приходя к мысли о самоубийстве, ставят крест на себя, отворачиваются от прошлого, объявляют себя банкротами, а свои воспоминания недействительными. Эти воспоминания уже не могут дотянуться до человека, спасти и поддержать его. Непрерывность внутреннего существования нарушена, личность кончилась. Может быть в заключение убивают себя не из верности принятому решению, а из нестерпимости этой тоски, неведомо кому принадлежащей, этого страдания в отсутствие страдающего, этого пустого, не заполненного продолжающейся жизнью, ожидания.

Мне кажется, Маяковский застрелился из гордости, оттого,

что он осудил что-то в себе или около себя, с чем не могло мириться его самолюбие. Есенин повесился, толком не вдумавшись в последствия и в глубине души полагая, — как знать, может быть это еще не конец и, неровен час, бабушка надвое гадала. Марина Цветаева всю жизнь заслонялась от повседневности работой, и когда ей показалось, что это непозволительная роскошь и ради сына она должна временно пожертвовать увлекательной страстью и взглянуть кругом трезво, она увидела хаос, не пропущенный сквозь творчество, неподвижный, непривычный, косный, в испуге отшатнулась и, не зная, куда деться от ужаса, впопыхах спряталась в смерть, сунув голову в петлю, как под подушку. Мне кажется, Паоло Яшвили, уже ничего не понимал, как колдовством оплетенный шигалевщиной тридцать седьмого года, и ночью глядел на спящую дочь и воображал, что больше недостойн глядеть на нее, и утром пошел к товарищам и дробью из двух стволов разнес себе череп. И мне кажется, что Фадеев, с той виноватой улыбкой, которую он сумел пронести сквозь все хитросплетения политики, в последнюю минуту перед выстрелом мог проститься с собой с такими, что ли, словами: «Ну вот, всё кончено, прощай, Саша».

Но все они мучились неопишимо, мучились в той степени, когда чувство тоски уже является душевной болезнью. И помимо их таланта и светлой памяти участливо склонимся также перед их страданием.

9

Итак, летом 1914 года в кофейне на Арбате должна была произойти сшибка двух литературных групп. С нашей стороны был я и Бобров. С их стороны предполагались Третьяков и Шершеневич. Но они привели с собой Маяковского.

Оказалось, вид молодого человека, сверх ожидания, был мне знаком по коридорам Пятой гимназии, где он учился двумя классами ниже, и по кулуарам симфонических, где он мне попадался на глаза в антрактах.

Несколько раньше один будущий слепой его приверженец показал мне какую-то из первинок Маяковского в печати. Тогда этот человек не только не понимал своего будущего бога, но и эту печатную новинку показал мне со смехом и возмущением, как заведомо бездарную бессмыслицу. А мне стихи понравились до

чрезвычайности. Это были первые ярчайшие его опыты, которые потом вошли в сборник «Простое как мычание».

Теперь, в кофейне, их автор понравился мне не меньше. Передо мной сидел красивый мрачного вида юноша с басом прото-диакона и кулаком боксера, неистощимо, убийственно остроумный, нечто среднее между мифическим героем Александра Грина и испанским тореадором.

Сразу угадывалось, что если он и красив, и остроумен, и талантлив и, может быть, архиталантлив, — это не главное в нем, а главное — железная внутренняя выдержка, какие-то заветы или устои благородства, чувство долга, по которому он не позволял себе быть другим, менее красивым, менее остроумным, менее талантливым.

И мне сразу его решительность и взлохмаченная грива, которую он ерошил всей пятерней, напомнили сводный образ молодого террориста-подпольщика из Достоевского, из его младших провинциальных персонажей.

Провинция не всегда отставала от столиц во вред себе. Иногда, в период упадка главных центров, глухие углы спасала задержавшаяся в них благодетельная старина. Так в царство танго и скетингрингов Маяковский вывез из глухого закавказского лесничества, где он родился, убеждение, в захолустьи еще незыблемое, что просвещение в России может быть только революционным.

Природные внешние данные молодой человек чудесно дополнял художественным беспорядком, который он напускал на себя, грубоватой и небрежной промоздкостью души и фигуры и бунтарскими чертами богемы, в которые он с таким вкусом драпировался и играл. Вкус у него был такой зрелости и выношенности, что казался старше его самого. Ему было двадцать два года, а его вкусу, так сказать, — 122*).

10

Я очень любил раннюю лирику Маяковского. На фоне тогдашнего паясничанья ее серьезность, тяжелая, грозная, жалующаяся была так необычна. Это была поэзия мастерски вылепленная, горделивая, демоническая и в то же время безмерно обреченная, гибнущая, почти зовущая на помощь.

*) Две последних строки 9-ой главы отсутствуют в заграничных изданиях «Автобиографического очерка». — Ред.

«Время! моллю:
Хоть ты слепой богомаз,
лик намалой мой
в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека!»

Время послушалось и сделало, о чем он просил. Лик его вписан в божницу века. Но чем надо было обладать, чтобы это увидеть и угадать.

Или он говорит:

«Вам ли понять,
почему я,
спокойный,
насмешек грозою,
душу на блюде несу
к обеду прядущих лет...»

Нельзя отделаться от литургических параллелей. «Да молчит всякая плоть человека и да стоит со страхом и трепетом, ничтоже земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным».

В отличие от классиков, которым был важен смысл гимнов и молитв, от Пушкина, в «Отцах пустынноиках» пересказывавшего Ефрема Сирина, и от Алексея Толстого, перекладывавшего погребальные самогласны Дамаскина стихами, Блоку, Маяковскому и Есенину куски церковных распева и чтений были дороги в их буквальности, как отрывки живого быта, наряду с улицей, домом и любимыми словами разговорной речи.

Эти залежи древнего творчества подсказывали Маяковскому пародическое построение его поэм. У него множество аналогий с каноническими представлениями, скрытых и подчеркнутых. Они призывали к огромности, требовали сильных рук и воспитывали смелость поэта.

Очень хорошо, что Маяковский и Есенин не обошли того, что знали с детства, что они подняли эти привычные пласты, воспользовались заключенной в них красотой и не оставили ее под спудом.

11

Когда я узнал Маяковского короче, у нас с ним обнаружили непредвиденные технические совпадения, сходное построение образов, сходство рифмовки. Я любил красоту и удачу его движений. Мне лучшего не требовалось. Чтобы не повторять его и не казаться его подражателем, я стал подавлять в себе задатки, с ним перекликавшиеся, героический тон, который в моем случае был бы фальшив, и стремления к эффектам. Это сузило мою манеру и ее очистило.

У Маяковского были соседи. Он был в поэзии не одинок, он не был в пустыне. На эстраде до революции соперником его был Игорь Северянин, на арене народной революции и в сердцах людей — Сергей Есенин.

Северянин повелевал концертными залами и делал, по цеховой терминологии артистов сцены, полные сборы с аншлагами. Он распевал свои стихи на два-три популярных мотива из французских опер, и это не впадало в пошлость и не оскорбляло слуха.

Его неразвитость, безвкусица и пошлые словоупотребления, в соединении с его завидно чистой, свободно лившейся поэтической дикцией, создали особый странный жанр, представляющий, под покровом банальности, запоздалый приход тургеневщины в поэзию.

Со времени Кольцова земля русская не производила ничего более коренного, естественного, уместного и родового, чем Сергей Есенин, подарив его времени с бесподобной свободой и не отяжелив подарка стопудовой народнической старательностью. Вместе с тем Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую, вслед за Пушкиным, мы зовем высшим Моцартовским началом, Моцартовской стихией.

Есенин к жизни своей отнесся, как к сказке. Он, Иван-царевичем на сером волке, перелетел океан и, как жар-птицу, поймал за хвост Айседору Дункан. Он и стихи свои писал сказочными способами, то как из карт раскладывая пасьянсы из слов, то записывая их кровью сердца. Самое драгоценное в нем — образ родной природы, лесной, среднерусской, рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью, как она далась ему в детстве.

По сравнению с Есениным дар Маяковского тяжелее и грубее, но зато, может быть, глубже и обширнее. Место есенинской

природы у него занимает лабиринт нынешнего большого города, где заблудилась и нравственно запуталась одинокая современная душа, драматические положения которой, страстные и нечеловеческие, он рисует.

12

Как я уже сказал, нашу близость преувеличивали. Однажды во время обострения наших разногласий, у Асеева, где мы с ним объяснялись, он с обычным юмором так определил наше несходство: «Ну, что же. Мы действительно разные. Вы любите молнию в небе, а я в электрическом угле».

Я не понимал его пропагандистского усердия, внедрения себя и товарищей силою в общественном сознании, компанейства, артельщины, подчинения голосу злободневности.

Еще непостижимее мне был журнал «Леф», во главе которого он стоял, состав участников и система идей, которые в нем защищались. Единственным последовательным и честным в этом кружке отрицателей был Сергей Третьяков, доводивший свое отрицание до естественного вывода. Вместе с Платоном, Третьяков полагал, что искусству нет места в молодом социалистическом государстве или, во всяком случае, в момент его зарождения. А то, испорченное поправками, сообразными времени, нетворческое, ремесленное лжеискусство, которое процветало в «Лефе», не стоило затрачиваемых забот и трудов, и им легко было пожертвовать.

За вычетом предсмертного и бессмертного документа «Во весь голос», позднейший Маяковский, начиная с «Мистерии-Буфф», недоступен мне. До меня не доходят эти неуклюжие зарифмованные прописи, эта изоциренная бессодержательность, эти общие места и избитые истины, изложенные так искусственно, запутанно и неостроумно. Это, на мой взгляд, Маяковский никакой, несуществующий. И удивительно, что никакой Маяковский стал считаться революционным.

Но по ошибке нас считали друзьями и, например, Есенин, в период недовольства имажинизмом, просил меня помирить и свести его с Маяковским, полагая, что я наиболее подхожу для этой цели.

Хотя с Маяковским мы были на вы, а с Есениным на ты, мои встречи с последним были еще реже. Их можно перечислить по

пальцам, и они всегда кончались неистовствами. То, обливаясь слезами, мы клялись друг другу в верности, то завязывали драки до крови, и нас силою разнимали и растаскивали посторонние.

13

В последние годы жизни Маяковского, когда не стало поэзии, ничьей, ни его собственной, ни кого бы то ни было другого, когда повесился Есенин, когда, скажем проще, прекратилась литература, потому что ведь и начало «Тихого Дона» было поэзией, и начало деятельности Пильняка и Бабеля, Федина и Вс. Иванова, в эти годы Асеев, отличный товарищ, умный, талантливый, внутренне свободный и ничем не ослепленный, был ему близким по направлению другом и главной опорой.

Я же окончательно отошел от него. Я порвал с Маяковским *вог по какому поводу*. Несмотря на мои заявления о выходе из состава сотрудников «Лефа» и о непринадлежности к их кругу, мое имя продолжали печатать в списке участников. Я написал Маяковскому резкое письмо, которое должно было взорвать его.

Еще раньше, в годы, когда я еще находился под обаянием его огня, внутренней силы и его огромных творческих прав и возможностей, а он платил мне ответной теплотой, я сделал ему надпись на «Сестре моей жизни» с такими, среди прочих, строками:

«Вы заняты нашим балансом,
Трагедией ВСНХ,
Вы, певший Летучим Голландцем
Над краем любого стиха.
Я знаю, ваш путь неподделен,
Но как вас могло занести
Под своды таких богаделен
На искреннем вашем пути?»

14

Были две знаменитых фразы о времени. Что жить стало лучше, жить стало веселее, и что Маяковский был и оставался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За вторую фразу я личным письмом благодарил автора этих слов, потому что они избав-

ляли меня от раздувания моего значения, которому я стал подвергаться в середине тридцатых годов, к поре Съезда писателей. Я люблю свою жизнь и доволен ею. Я не нуждаюсь в ее дополнительной позолоте. Жизни вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю.

Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен.

Ю. Стефанов

ПЕСНЯ О ПАУКЕ

1

О, из века в век
Одно и то же:
Человек,
Снежная и угольная кожа,
Смотрит в небо,
Смотрит в море,
Ищет хлеба,
Бога молит.

Дождь идет,
Бог дождит.
Бой ревет,
Вождь вождит.

2

Ах, ни в микроскопы, ни в бинокли,
Оглянитесь около — мир прост:
Или под дождем луга намокли,
Или смерть вещает пляски звезд.

Или звонки брызги солнца в лужах,
Или солнце спряталось во тьму.
Грозы неизбежны потому,
Что всеильно кваканье лягушек.

3

Что там в небе — Сириус, Вега ли,
Маяками неведомой суши?
О, закройте раздумья веки,
Ваши компасы, ваши души!

И, как гончая след олений,
Запах тайны ищите в пыли,
Чтоб разбились о камни сомнений
Ваших тел корабли.

4

На дороги, реки, деревни
С оборотных сторон взгляните:
Это векторность нитей времени
И сколярность пространства нитей.

И забудьте про все на свете, —
Больше не на что в нем смотреть
Тем, кто видел, как нити эти
Образуют паучью сеть.

5

О, одетые в шелк и холстину,
Посмотрите сквозь облака
На чудовищную паутину,
На могучего паука.

Он незримо царит в сердцевине
Паутины, сплетенной для нас,
И сияет, как хвост павлиний,
Миллион его звездных глаз.

Правят миром ни Бог, ни случай,
Ни ученые, ни глупцы, —
Только в этой сети паучьей
Все начала и все концы.

6

О, покрытое розовой пеной,
Ты ужасно, как черный бред,
Ты косматого, как сотни комет,
Восьминогое солнце вселенной.

Ты играешь, как желтыми листьями,
Нашим разумом, силами нашими,
Вор, создавший для мира истину,
И создатель, ее укравший.

7

О демон Врубеля,
О Прометей,
О руки грубые,
Меча лютей.

Лежат надгробия
Среди травы,
Они попробовали,
Они мертвы.

Истлели мускулы
Могучих рук.
Глазами узкими
Глядит паук.

8

Я не знаю, что будет,
О прошлом не плачу.
Я так молод —
Мне только пятьсот тысяч лет.
Я отдам свою жизнь
С этой песней впридачу,
За одно только слово:
«Да» или «нет».
Мне от этой загадки

Ночами не спится,
Беспокойство меня
Угнетает с утра.
О, ответьте мне, камни,
Отзовитесь, ветра!

Нет,
Молчание — мира извечный обычай.
Не дал слова Создатель
Камням и траве,
И, как черные вороны,
Чуя добычу,
Кружат новые мысли
В моей голове.

Бог дрожит,
Вождь вождит,
Ищут хлеба скитальцы,
Время льется бесцельно,
Как струйка песка.
И закушены губы,
И стиснуты пальцы,
И во взгляде все та же
Немая тоска.

Рушатся цепи прогресса
Под ветром черных тревог,
Чашу зари перевесил
Мрак первобытных эпох.

О, сколько ты, тьма, изломала
Взлетов борьбы и надежд:
Сожженная Гватемала,
Разрушенный Будапешт.

Земля, ты желала мира,
Так вот получай свой мир:
Военные будни Каира,
В огне перестрелок Алжир.

И вновь полыхают грозы
Предвестьем последней грозы
По бухтам зеленой Формозы,
По заводам древней Янцзы.

А дальше, в прохоте бури,
Смеется сквозь пламя и снег
Гориллой в звериной шкуре
Грядущий каменный век.

Его волосатая грива
И жуткая глаз глубина
Волной водородного взрыва
Над пропастью лет рождена.

Шагают, шагают солдаты.
Война — от копья до ракет.
Земля, для чего же тогда ты
Растила нас тысячи лет.

История мулным течением
Смывает для целей иных
Полотна твоих Боттичелли
И музыку Бородиных

И светлые даты конгрессов
И годы военных тревог.
И рушатся цепи прогресса
Во мрак первобытных эпох.

ЦАРЕВНА-ВОЛХОВА

Л. С.

Твои ли руки, губы ли,
Иль нет — мне всё равно.
Ты помнишь, есть у Врубеля
Такое полотно:
Закатом бледнорозовым
Обрызгана трава,
Стоит над Ильмень-озером
Царевна Волхова.
Не топтаны, не кошены
Над озером луга.
Горят в ее кокошнике
Литые жемчуга.
Она такая ж самая,
Как ты вчера,
И ждет она из-за моря
Лихого гуслира.
А он с другою встретится,
Найдет покой.
Ах, быть тебе не девицей,
А быть рекой.
За лесом крики лешего
Грозят бедой.
Ты конного и пешего
Напой водой.
Кто только тебе выдумал
Удел такой:
Не быть ковшом любимому,
А быть рекой?!

В. Ковшин

• •
•

Я хочу туда, где цветет,
Где неслышно растут рябины,
Где трагически-яркий восход
Зажигает солому овинов.

В этих тихих плетениях крыш
Распустился розовый замок.
И крылом летучая мышь
Последний день
Указала.

• •
•

Сломали клоуну ноги
Каменные ступени
И через нижние сени
Вынесли в пыль дороги.

Клоун молился и плакал
Глазами в окнах у крыши,
Кап! и на пыль неслышно
Пала картонная капля.

Впивался лицом закрытым
В пепел пустой дороги.
Чьи-то широкие дроги
Дрожали, и били копыта.

Листали страницы былины
После коней и гомона.
Вот — маски его половины,
Его — печального клоуна.

• •
•

Почему колонны круглы
И вид их беспомощно кроток?
Отчего они прячут углы
Кристаллических их решеток?

Кто их так округлить сумел,
Обломал их углы и лица?
Что он этим сказать хотел
Пролетающей птице?

• •
•

Осколок черного дома
Оформил пустой переулок.
Я засыпаю снова —
В странный вхожу закоулок.

Котенок плачет про маму,
Кто-то мочится в стену,
Кто-то взрезает вену,
Смотрит в дыру нагана.

Я вошел в чужой переулок.
Захлопнулись двери мира.
Черная кошка входила
В пустой переулок.

• •
•

Не слышал я звон монет,
Внимал я укору зорь
И через дальний свет
Заметил чужой узор.

И люди с тоской на плечах
Вместе вскрикнули вдруг.
Новый голос звучал.
Закончился страшный круг.

• •
•

Вы видите, плохие люди,
Как из остатков темноты
Мне поднесли кроты на блюде
Осколки голубой мечты.

Я помню золотые крепи
И где-то прохот чьих-то вод,
И пальцы тонкие, как цепи,
Стянувшие затихший рот.

Уже улыбка не кривила,
Уже светило мне в лицо,
И стало мне не так уныло
Входить на белое крыльцо.

Я отдыхал, я был несмелым.
Но вот идут, идут кроты,
Несут, внесли на блюде белом
Реальность бешеной мечты.

• •
•

Мы с тобой почти калеки,
Мы с тобой почти друзья.
Ледоходные мутные реки
Не заманят, не соблазнят.

Мы с тобою почти еще дети,
И вот снова нас за нос ведут,
Люди нам ничего не дадут.

Да и сам я совсем несмелый,
Всё брожу по кошмару дней
В этой снежной пустыне белой;
А бродить-то всё больше больней.

Я ищу — кто бы робко и нежно
Мне снова струну натянул
И в будущей драке бешеной
Мне руку назад оттянул.

Не хочу, не хочу я безумия,
Не хочу я о крови кричать.
Недаром шепнула мне мумия:
«Человеки! лучше молчать!»

* * *

Мне говорили «не надо»,
Не надо много пить,
Мне говорили — мне надо
Кого-то еще полюбить.

Кого же вы кинете мне в любовь,
Кем успокоите вы меня?
Может вот эту — изломана бровь,
Странная дрожь в имени.

Мне надоело чувств мять,
Осточертели трюфельки.
Хочу вот так вот просто обнять
Чьи-то потертые туфельки.

Тошнит меня от похоти Мопассана,
Не для меня Флоберовский порок.
Потому и плюнул я так рано
На ваш поучительный урок.

Пусть мне ноги собьет мостовая бульжная,
И с моста тело я кину рано.
Зато буду знать, что сам выпил я,
Что в нерве своя, а не чужая рана.

Обрадован я хохотом оглушительно умным,
В кельи ваши я больше не вхож.
Лучше вправду я буду безумным,
Только б на вас я не стал похож.

Наскребывают люди счастье,
Люди живут надеждой.
Так нищий в рваной одежде
Просит участия.

Наскребываются квартиры,
Наскребываются деньжата,
Страхом горло зажато
В весельи вашего пира.

И, посмеявшись немного,
Мы снова ищем и ходим,
Пока не проляжет дорога
К самым последним сходням.

Но у последнего трапа
Не надо ничьих рыданий,
Иначе косматая лапа
Наши глотки раздавит,

Раздавит еще на дороге,
Не пожалеет обмана,
Повиснут тяжелые ноги
Где-то в горле нагана.

И одуревшие люди
Будут стрелять и пить,
Если мы плакать будем,
Если устанем жить.

* * *

В пыльных окнах завода
Луна шлифует небо,
Падает на землю.
На мою землю.

В тройных тюремных окнах
Луна шлифует небо,
Падает на землю.
На чью-то землю.

На окнах завода нет решеток,
На них простая деревянная рама.
Но за окнами луна шлифует небо,
Падает на чью-то землю.

• •
•

Было темно и страшно,
Свечи уже догорели.
В холодной высокой башне
Черные птицы пели.

Стояла ты в красном платье,
В красном, как цвет моей крови,
Я чуял твое объятие,
Я белые видел ладони.

В дрожи свечи погасающей
Ужасы теней губя,
В блике слезы высыхающей
Всё еще вижу тебя.

• •
•

Хорошая ты,
Как солнечный дождь,
И даже добрее стала.
Сквозь проводов
Ледяную дрожь
Словами меня ласкала.
Узор,
Что в окна вбили морозы,
И тот растоплен
Теплом жилищ.
И даже сосулек
Западали слезы
С холодных ресниц
Крыш.
Я знаю, —
То не весенние слезы,
Не солнцем пьяная то вода.
Знаю, будут еще морозы,
Страшные холода.
Знаю,
Будет тем больше ранений,
Тем диче будет ужас людей,
Чем больше теперь
Вдохнет испарений
Теплый бред тополей.

• •
•

Мне говорят, что молод,
А я ощущаю силы,
Я в этот каменный холод
Касаюсь косых усилий.

Не ищу божества в кумире,
Не плачу от страшных спрочек.
И, размышляя о мире,
Не ставлю глубоких точек.

Виснет в ухе сережка,
Вижу я тени роз,
И пусть моя узкая стезжка
Случайно скользнет под откос.

Мне все еще шепчут «люли»,
Я строки шепчу из Корана,
Я прост, как доньшко пули,
Как ножевая рана.

• •
•

После забытой речи
Тихо качнулись качели,
И на худые плечи
Белые руки взлетели.

Дрогнули плечи бога
В круге, очерченном сразу.
Тайны древнего рога
Шли в безвременный разум.

И птицы с хвостами из солнца
Сели на вечные плечи.
«Заглаканное оконце».
Где вы, слова человечьи?

И просто они молчали,
Просто молчали без песен,
И громко цикады трещали
В полях, похожих на плесень.

Мы попрощались и встали на разных щеках улицы. Мы были связаны и чувствовали себя неловко и туго, как тачка. Прокатывалась бочка милиционера. За мной подсматривала парикмахерская. Она была вписана в мясной магазин. Улица была перегороджена нами. Голова стала клубком котенка. Когда я просыпался, то был пьян. Она смеялась над пьяными, я завидовал им. Пьяный троллейбус, пьяная лошадь, пьяный кучер. Одна она трезва и стоит прямо и смотрит прямо в глаза. Тогда я ненавижу ее и, если бы мог, то перескочил бы улицу и разорвал бы ей рот грязными ногтями. Я улыбаюсь ей многообещающе. Она, конечно, чистая. Надо полагать и надеяться. Она в пальто и отворачивается от моих откровенных улыбок. Она еще гордая, а я просто устал. Я знаю себя. И ее. И всех. Она убегает от меня вдоль улицы. Она стоит под дождем и ждет троллейбуса. Ага, она тоже устала бегать. А, может быть, поняла, что некуда. Я всё смотрю на нее, а она всё кружится вокруг своей оси. Бычьи головы из мясного магазина удивились ее вращению. Прохожие стали оглядываться и обходить. Ее пальто начало расстегиваться сверху, а

шапочку она сняла, чтобы не замочил дождь. Когда пальто расстегнулось, начало расстегиваться платье. А дальше ничего уже не надо было расстегивать, и ветер, дуя в открытое пространство, обнажал ее тело. Люди, вместо того, чтобы обходить, как раньше, стали собираться в кружок и смеяться. Подошел мой троллейбус. Я сел в него и только там расплакался.

Ноябрь, 1960 год.

С. Красовицкий

ИМПРОВИЗАЦИЯ

Ни колонн,
 Ни зала,
 Где рук роям
 Разбиться в ударном плесе...
 На краю леса
 Стоял рояль —
 В доме
 На краю леса.
 Ложились сумерки.
 Был вечер тих.
 Раздумье и тоска...
 Я видел,
 Как ты бросила их
 На бело-черный оскал...
 Катался по клавишам слезный ком,
 И лес шевелился во сне,
 И было обоим
 Смотреть нелегко,
 Как лепится на стекла снег.
 На лбу ломалась
 Черная прядь.
 И резкими —
 Тени щек.
 У губ застыло немного упрямств,
 Немного чего-то еще...

Дрожали свечи испугом глаз.
 А тени вступали в игру.
 И были страшны
 От угла до угла
 Разбросанные кисти рук.
 Постукивал дятел
 В обрывках ног.
 Звенела жара пустынь.
 Но вышло правдою,
 Все равно, что выдумала ты.

• •
 •
 И конечно барсучье лето,
 Напоминавшее весну.
 И песня зябликов под ветром
 Сгорела,
 Как бикфордов шнур.

Я знаю —
 Жить необходимо
 И жечь дрова,
 И что тогда
 Наупро будет кромка дыма
 Еще острее,
 Чем кромка льда.

Лиса придет по хрусту наста
 И станет, лап не замочив,
 Смотреть на крохотное счастье
 Горящей под водой свечи.

А холм
 Под лесом и под ветром,
 Куда ведут ее следы —
 Белел, как череп беглой выдры,
 Не дотянувшей до воды.

• •
•

О, весна!
 Это ты, моя дорогая.
 Будем жить с тобой, песни слагая,
 И друг другу дарить цветы.
 Вот цветок золотистой головки,
 Вот цветок магазинной обновки,
 Хризантемы неяркий росток
 И зеленый военный цветок.
 Говорит — хотите про это:
 Про несчастье военного лета,
 Про цветы обожженных рук...
 Но я слышу железный звук —
 Вырос черный цветок пистолета.
 И когда подойдет мне срок,
 Как любимой не всякий любовник,
 Замечательный красный шиповник
 Приколю я себе на висок.

• •
•

Отражаясь в собственном богишке,
 Я стою на грани тропуара.
 Дождь.
 Моя нога в суглилке,
 Как царица черная Тамара.
 Зонтик раскрывается гранатой,
 Вырастает водородный прибор.
 В пар душа —
 (Как тяжела утрата)
 В грязь кольцо —
 Должно быть я погиб.
 Но как странно —
 Там, где я всё меньше,
 Где тускнеет черная слюда,
 Видеть самого себя умершим
 В собственном богишке иногда.

• •
•

Птичьи крики детей на снегу. Это миг,
 Этот день, обрамленный в оконную прорезь,
 И тускнеет аллея,
 Вдалеке прогремит
 На колесной жестянке поставленный поезд.

Снеговая дорога, покатая влево,
 Как излом ее пальцев
 Или мертвый карниз,
 И чучело маленькой птицы подвешено вниз.

На дереве черном, как буква У,
 И плоский коричневый дом,
 Как еще не свернувшийся лист,
 И кажется, сказано чучелам этим,
 Что вот она — грусть о былом —
 Спутница жизни и смерти.

В БРОД

Там били кони
В плеск заката.
И пили там,
Где пляшет пламень.
Но крался вечер с крыш покатых.
И день уходит только снами.

Кто лобит клёкот лебедей
Пред тем,
Как вечеру состариться —
Увидит в плянцовой воде —
У солнца
Ослабели пальцы.

А были —
Сжатые в кулак.
Но только на день это надо.
У нас —
Горящие до тла
Пока что пламенные взгляды.
И будто Цезарь на скаку,
Мы тоже брали Рубиконы.
И оставляли далеко
Лесов вечернее ку-ку.

Кого любил —
Грусти о ней.
Лоскут заката — наше знамя.
Под галчий клик,
Под плеск коней, —
И день уходит только с нами.

В. Хромов

*Босая женщина горда
Ногами щупать города.*

Запльбли жиром складки дома,
Карнизов ветхое чутье.
То выкидьши или потомок
Оттаял каменным судьей?

За ним толпа остатков пицци.
Звонок, продавленный в каддык.
И голубые пепелища
Стояли, высунув язык.

Собачьим ртом дышали печи
И завихрения кавычки,
Похожие на конечности,
Летели из-под электрички.

Казалось ей: роится ветер
И пеплом головы пыля
Лицо, проплывшее в кювете
Покойником на костылях.

• •
•

Колокольня внахлест отсчитала число,
Створки окон в лесу колобродят,
И навстречу движению на небосклон
Рамы тянут шальные поводья.

Накануне следами порезанных губ
Тают кромки холодной зари.
Голубые дожди по неясному признаку
Претворяются в монастыри.

От ножей перед праздником стало светло,
Тень колодцами снег кособочит.
И повисли пискливые гнезда ветров
В таратайке укусов обочин.

• •
•

Тем не менее темнеет,
Кромки елей еле живы,
И в прохладном дне немея,
Засучивают сучья пряжу ивы.

Значит вечер наскворечен.
Слезам росы уласть на камень,
Но не будет сумрак вечен,
А серьги на самках замками.

Что есть мочи промолчит
На вратах деревянная курица.
Смелый всадник тебя умчит,
Чтоб зарею набедокуриться.

Когда лучи его прогонят
И пастухов очеловечат,
Увидят туманные взоры коня,
Как на солнце цыпленок просвечивает.

• •
•

Пустынный череп космогона
В трамвайной музыке остыл.
Вознес господние знамена
Волоколамский монастырь.

Вокруг леса дышали ветошь
И кровохарканье Христа.
Под изваянием рассвета
Могилой пахнет борозда.

Пьянчуги, симаны-гулиманы
Поодаль сушат падаль брюк.
И осень наливает гимны
В тугие груди клокв.

Л. Чертков

Солнце — как сохнет калинный цвет
 Да лебедь дорога.
 А пойду! пойду по молочной росе,
 По кисельные ровные берега.

За морями же земли великие есть,
 А путь туда по версте до версты,
 Через поле вдоль, да и там не сесть,
 Наждаком по душе заскребут кусты.

И солдаткой рябина прядет пыль,
 Тараканы спят и плетни молчат,
 И не пискнет дверь, не дохнет пустырь.
 Ты сюда забрел, да не в свой листопад.

А и глянь на дороге, залитой мукой,
 Человек и тебе незнаком.
 Он маячит в рассвет деревянной рукой
 И пахнет чужим табаком.

Там не за горою страна Свят-Свят.
 Там раздолье, грех да и тишь по утрам,
 Но куда ни плонь, всё ведет назад,
 И малинник туго кивнет полям.

Пусть пропадет стон полосу беды,
 Ночь — она соврет и луна уйдет.
 Поперек тебя струна борозды,
 Лучше б тебе не заходить вперед.

Лучше по утрам не раздернуть штор.
 А заснуть еще да и встать иным,
 Лучше синева в облаков раствор
 И над крышей снега розовый дым.

А. Петров

Эх, романтика, синий дым,
 Обгоревшее сердце Данки...
 Сколько крови, сколько воды
 Утекло в подземелье
 Лубянки.

Эх, романтика, синий дым...
 В Будапеште — советские танки.
 Сколько крови, сколько воды
 Утекло в подземелье
 Лубянки.

Эх, романтика, синий дым,
 Наши души пошли на портянки.
 Сколько крови, сколько воды
 Утекло в подземелье
 Лубянки.

М. Мерцалов

Люди Африки — черные люди,
 Они говорят: нужно черное счастье.
 Люди Азии — желтые люди,
 Они знают: лучше желтое счастье.
 Люди Америки — белые люди,
 Они думают: только белое счастье.
 Люди России — русские люди,
 Они молчат — это русское счастье.

• •
•

Слова, слова — безликое число
Высоких слов праздничного накала;
Я перестал бояться этих слов,
За них и мной заплачено немало.

Слова, слова, — где мера этих слов?
Какое мне дано на стих и правду право?
За них пытали ложью и отравой.
За них,
За горстку звонких слов,
За чьи-то отблески, какие-то оттенки
Пускали жизнь свою на слом,
Сушили сердце в тюрьмах и застенках.

Слова, слова, — нахмуренно и зло
Лубянского зияние подвалов,
Я перестал бояться этих слов,
За них и мной заплачено немало.

Н. Нор

МОИМ ДРУЗЬЯМ

Нет, не нам разряжать пистолеты
В середине зеленых колонн!
Мы для этого слишком поэты,
А противник наш слишком силен.
Нет, не в нас возродится Вандея
В тот гудящий, решительный час!
Мы ведь больше по части идеи,
А дубина — она не для нас.
Нет, не нам поднимать пистолеты!
Но для самых ответственных дат
Создавала эпоха поэтов,
А они создавали солдат.

• •
•

Если вдруг за мною явитесь вы,
Чтоб швырнуть в железную клетку,
Я из мира уйду, не склонив головы,
И о сделанном не стану жалеть.
Я шагну в холодную пустоту
Без мольбы о пощаде, без жалоб и слез
И с собою туда заберу мечту,
Ту, что много лет я с собою нес.
И вдали от друзей, среди толстых стен
Мы дождемся с ней свободы дня.
Мне не страшен ваш многолетний плен,
Не убив ее, не убить меня.

1959 г.

Нас очень мало. Мы очень слабы.
И вы смеетесь над нами нагло.
Вы нам прозите дорогой дальней,
Железной клетью, толпы презреньем
И говорите нам: «отрекийтесь.
Согните спины. В грехах покайтесь.
И пойте славу пустой похлебке».

Пускай нас мало! Пускай мы слабы!
Но мы не будем похлебки славить!
Давно тошнит нас от той похлебки.
Нужна нам пища для дум и мыслей.
Нужна нам воля. Нужна нам радость.
И вера в разум, в прогресс, в движение.

Пускай нас мало! Пускай мы слабы!
Но постепенно нас станет больше.
И мы подточим гнилые доски
Харчевни вашей, где мрак и сырость,
Где нету места для вкусной пищи,
Где соль и перец внушают ужас,
Где под запретом горчица с хреном.

Пускай нас мало!
Мы ждем! Мы верим!
Пусть мы погибнем!
Наш час настанет!

• • •

Нам не дано поехать по Европе.
Нам не дано увидеть белый свет.
Мы знания черпаем из утопий.
И строим мир из сплетен и газет.

А. Щусин

ЛЮДИ, СЛУШАЙТЕ!

(Поэма)

Люди, слушайте!
Люди, слушайте!
Это говорю вам я.

Люди, слушайте!
Говорит Москва,
Говорит Москва.

Со Спасской точно
Удары сочные,
И площадь темная
Стоит объемная,
Стоит Красная
Площадь темная,
С названием красным,
Площадь Красная.

Я думал раньше,
А где же краска?
Я думал раньше,
А где же кровь?
Сапожная вакса,
Я думал раньше,
Стерла краску,
Втоптала кровь.
Нету краски!
Нету крови!
Не слушайте, люди!
Не слушайте, люди!
На площади маска,
Сапожная вакса,
Всевышнего ласка,
Всеобщая таска.
Мы, самые полнокровные,

Мы, самые краснокровные,
 Потому мы коровные,
 Потому мы погромные!
 Нам цари горло резали,
 Горло резали, не дорезали.
 Перелезли мы во седой во Кремль.
 И издали указ обо всех земель.
 Стали править мы,
 Да покрикивать.
 Стали спроить мы,
 Да побрякивать.
 Сказки новые
 Стали сказывать,
 Песни новые
 Распевать.

Но осталось то ж,
 Что и было ти,
 Что ж, что сыго ти,
 Что обуто ти?
 Где сейчас не так,
 Там бунт,
 Аль народ
 Дурак.

.

Довольно, хватит!
 Товарищи в Советах,
 Вспомните семнадцатый,
 Забыли, что ли?
 Сегодня сплошь
 Она в поэтах,
 Шестидесятая Россия!

.

Спит Красная,
 Снег выпал,
 Первый снег,
 А люди-то спят.
 Спит Красная,
 Раздался выстрел, —

Один человек,
 Сто пятьдесят...
 Спит Красная,
 Снег выпал,
 Первый снег,
 А люди-то
 Спят.
 Может, разбудить?
 — Смотрите, слушайте!
 Снег выпал и человек...
 Люди, слушайте!
 Люди, слушайте!
 — Нет, нет, нет.

Знаю, не хотите,
 Знаю, тошно.
 — Довольно! Хватит!
 — Замолчи, ты!

Знаю, не хотите,
 Знаю, тошно,
 Не надо, поймите,
 Иначе ты...

Спит Красная,
 Снег выпал,
 А люди-то спят, спят.

Снег-то красный,
 В России красной,
 На площади Красной
 Снег выпал красный,
 И люди видят, не спят.

Я думал раньше,
 А где же краска?
 Я думал раньше,
 А где же кровь?

Сапожная вакса,
Я думал раньше,
Стерла краску,
Втоптала кровь.

Люди, слушайте!
Люди, слушайте!
Теперь поймите
Все до конца.

Люди, слушайте!
Люди, слушайте!
Говорит Москва.
Говорит Москва.

ОРАНЖЕРЕЯ

Оранжерея, декабрь месяц;
Цвет орхидеи, на стенах плесень.
И воздух пряный —
Дух оловянный,
Скорей — скорей!
Смотреть не смей, —
В оранжерее
Стоит купель.
И по ранжиру
Стоят транжиры —
Запльвиший жиром
Их цвет инжирный.
Стоят, провожая! —
Нарцисс опадает.
Глядят кровожадно —
Нарцисс умирает.

Наверно, розы,
И те краснели
В оранжерее,
В оранжерее,
Наверное баба —
Ромашка
Простая,
Откуда взялась,
Откуда такая?
Наверное тоже,
Наверное слезы,
И у мимозы —
Цветок на морозе.

Но это же розы
Цветут, жирея,
В оранжерее,
В оранжерее,
По-прежнему рдея,
И не краснея,
Розы в постели,
Розы в апреле,
Розы жирели,
Розы наглели,

В оранжерее,
В оранжерее!

В оранжерее:
— Не нужно красных,
Не нужно белых,
Не нужно разных
В оранжереях.
Хотим мы серых
И голубых

На ветках синих,
Про всё забыв,

Хотим мы слушать
Цвет орхидей.
ОРАНЖЕРЕЯ! —
Для прохиндеев,
Для проходимцев,
Для продавцов
Роз, ананасов,
Жизней и слов.
Оранжерея, — больше нет мочи!
Я не жалею, Черные ночи,
Черные свечи,
Цвет орхидей,
Я не успею, красные розы,
Помните слезы!
Ранние слезы!

А. Шуг

ЗВУКИ

1

Не тяни
За эти нити.
Тени тонут в пустоте.
Небо в нимбах,
Небо мнимо,
Мы не эти
и не те.
Мы отенок,
Мы иные,
Мы предчувствия,
предтеча.
К вам прямые,
К вам земные
Наши мысли,
Наши речи.

2

Да,
человек. Его лечат
Новь и вонь.

Кинг — кинг,
Факты выткав,
Убери репу.

3

Вопль догоним,
Хлоп в ладони.
А огонь в агонии,
Кони в пене,
Пенье,
Пони,
Какафония.

4

Миру рифм
 Мера свинца.
 Венок к лире
 Мертвеца.
 От детей и от отца
 Лац-ца дриц-ца
 Ла-ца-ца
 Ца-ца-ца-ца.

5

Поднимайтесь,
 Поднимите
 Все на митинг,
 Всех на митинг.

6

Довольно из торгов
 Историю
 делать.
 Восторгом сомнительным
 землю обув,
 Мы призваны переделать
 записи главбуха.
 Мы равноправные
 правнуки
 Семнадцатого года,
 Мы приправа
 к правде,
 Которую уродуют.
 Конь страсти
 В контрасты.
 Брось свободный разум века,
 Свергнем веру
 В изувера,
 Веру в сверхчеловека.

7

У меня температура
 В миллионы солнц.
 На меня фасоль
 набросила
 Белое лассо.
 СОС СОС СОС СОС
 Не целуй меня взасос.

МОЛИТВА МОРЯ

Ласкою нежа берег,
море молило свободу.

Гулко дыша и захлебываясь
пенной собственной злости,
море чуть-чуть отодвинуть хотело берег.

И снова,
нежась о берег,
море собой торговало.

Берег был мертв
уже тысячи лет.

• •
•

Солнце раскололось на миллионы маленьких частиц и, искрясь, упало на землю.
Мир погрузился в ночь.
Люди воюют за осколки света.
Я спрятал в сердце маленькую частицу солнца.
Мне тепло.

НЕВИДИМКА

Я полудремал, полуписал за письменным столом, как вдруг что-то рухнуло за моей спиной.
Это был труп человека.
В кармане у него были найдены эти странные записи.

Это, конечно, забавно, когда ты невидим и можешь делать все, что хочешь.

Но...

У меня есть мать и отец. Я не знаю, родила меня мать когда-нибудь или нет, но она у меня есть.

И сейчас я ее вижу. Она читает вслух:

— В праздник Благовещенья на малой могиле

— Белые священники пели псалом.

— Белые священники с улыбкой хоронили

— Маленькую девочку в платье голубом. —

Я вижу, как вздрагивает её нижняя губа.

Но...

Для них я невидим.

Вы сразу же представите, что бы вы сделали на моем месте. Я делаю. Но... Я совсем не видим — вы не видите даже того, что я делаю.

Я ясно помню тот день.

До того дня я как-то не замечал, что человек не только видит и слышит людей, но и его люди тоже видят и слышат.

И вдруг (в то самое утро) я проснулся со страшным предчувствием.

А в следующий миг страшный, нечеловеческий крик вырвался у меня из горла.

Мать печатала на машинке.

Я подошел и обнял ее за плечи — она продолжала печатать. Я начал бить по клавишам машинки. Я видел, как выползали из-под моих ударов:

— МА-МА, МА-МА, МА-МА, МА-МА —

Я видел-видел на белой бумаге эти жирные буквы!

Мать продолжала печатать.

Мой отец всю жизнь пишет рассказы о том, «какой гадкий, какой отвратительный человек».

МОЛИТВА МОРЯ

Ласкою нежа берег,
море молило свободу.

Гулко дыша и захлебываясь
пенной собственной злости,
море чуть-чуть отодвинуть хотело берег.

И снова,
нежась о берег,
море собой торговало.

Берег был мертв
уже тысячи лет.

• •
•

Солнце раскололось на миллионы маленьких частиц и, искрясь, упало на землю.
Мир погрузился в ночь.
Люди воюют за осколки света.
Я спрятал в сердце маленькую частицу солнца.
Мне тепло.

НЕВИДИМКА

Я полудремал, полуписал за письменным столом, как вдруг что-то рухнуло за моей спиной.
Это был труп человека.
В кармане у него были найдены эти странные записи.

Это, конечно, забавно, когда ты невидим и можешь делать все, что хочешь.

Но...

У меня есть мать и отец. Я не знаю, родила меня мать когда-нибудь или нет, но она у меня есть.

И сейчас я ее вижу. Она читает вслух:

— В праздник Благовещенья на малой могиле

— Белые священники пели псалом.

— Белые священники с улыбкой хоронили

— Маленькую девочку в платье голубом. —

Я вижу, как вздрагивает её нижняя губа.

Но...

Для них я невидим.

Вы сразу же представите, что бы вы сделали на моем месте. Я делаю. Но... Я совсем не видим — вы не видите даже того, что я делаю.

Я ясно помню тот день.

До того дня я как-то не замечал, что человек не только видит и слышит людей, но и его люди тоже видят и слышат.

И вдруг (в то самое утро) я проснулся со страшным предчувствием.

А в следующий миг страшный, нечеловеческий крик вырвался у меня из горла.

Мать печатала на машинке.

Я подошел и обнял ее за плечи — она продолжала печатать. Я начал бить по клавишам машинки. Я видел, как выползали из-под моих ударов:

— МА-МА, МА-МА, МА-МА, МА-МА —

Я видел-видел на белой бумаге эти жирные буквы!

Мать продолжала печатать.

Мой отец всю жизнь пишет рассказы о том, «какой гадкий, какой отвратительный человек».

Он любит лишь «посмертно-посмертных людей». Для него они «груда убожеств», для него они «резинковые мячи с начищенными щеткой пуговицами глаз, с выгнутыми листами железа лбов». Для него они «недожеванные богом куски мяса».

А Я ЛЮБЛЮ ЛЮДЕЙ!

Я целую руки проститутке, идущей себя продавать. Я говорю ей — какая она хорошая! Я говорю — как я ее люблю! Ей даже не надо отдергивать руки. Она просто не видит, не слышит, не чувствует меня.

Я хочу делать людям добро. Но зачем, если ни добра, ни зла они все равно не увидят.

Если я не существую!!!

А. Онежская

ВСАДНИКИ БЕЗ ГОЛОВЫ

Только ложь. Только ложь усталости.
Только бисер непролитых слез,
В двадцать лет — дыхание старости
И запретный заветный вопрос.
Но никто не найдет ответа,
На губах — дыхание лжи,
На заветном запретное вето,
На дымящей крови — жир.
Ложь вокруг. Безликие лица.
Заколдованный круг слепых,
Боль Венгерской рапсодии Листа
Станет ложью в руках толпы.
Только ложь. — Невесомые строфы.
А расплата? Возмездие? Гнев? —
Никогда не придет к Кристофу
Купина в негленном огне.
Гнев иссякнет. Возмездие духа
Недоступно для нас. Увы!
Нам легко походить друг на друга,
Пешим всадникам без головы.

МОСКОВСКОЕ ЗОЛОТО

Золотые разводы боли
В черной крошечной тьме,
Золотые мысли в неволе,
Золотые люди в тюрьме.
Всюду ценности: золотого хлеба,
Золотые кисти знамен,
И в навозном золоте хлеба
Золотая роспись имен,
Прославивших этот город,
Эту землю и этот мир,
Среди них, сияющих гордо,
В золотых похвалах кумир,
Самый новый и самый яркий,
Осчастлививший свой народ,
Золотые сыплет подарки
Простакам умиленным в рот.
Золотые зубы на челюстях,
Золотые посулы в статьях —
Всё прекрасно в моем отечестве,
Построенном на костях.

* * *

Ссадина в сердце
 А день серый
 Серый как губы негра
 Ссадина в сердце и негра
 Горькая
 Голуби ходят по городу
 Голуби холёные и гордые
 Жирные в жестких перьях
 Жимолости не место в горнице
 И ты у меня не первый
 И день серый
 Ссадина в сердце
 Боль невесомая
 Но ведь есть же солнце
 И есть совесть
 И не нужно сетовать
 А день серый
 И ходят сытые голуби
 В городе сыро и холодно
 В городе сыро
 Голодные сыты
 Чего-то стыдно
 И всё постыло
 Я лоблю тебя
 Как всё просто
 Прости мне мою пропасть
 Я не жду и не спражду
 Всего лишь ссадина в сердце
 На перекрестке
 День замешался серый
 Страшный

* * *

Голубого не было
 Была боль
 Синее остыло
 И умер бог
 Желтое жеманилось
 В рамках разума
 Маялось манией
 Погоней за радостью
 Фиолетовое лентой
 Сплетало ласки
 Таяло летом
 В полетах ласточки
 Зеленое злилось
 И не исчезло
 И всюду незримо
 Улыбалась жалость
 Алое ластяком
 Стирало небо
 А главное — счастья
 Голубого — не было

• •
•

Вопреки упрекам и попрекам,
Вопреки прощеньям и проступкам,
Жили в сердце красота и крепость
Без предательств, без уступок.

Не крепилось, не скупилось, пело,
Прочности непрочного прозрев,
Вопреки преградам и пределам,
Прошлое придуманным согрев.

Пересуды, передразни, пряность
Запрещенных, непощенных встреч.
Вопреки приличиям упрямо
Несгораемое мнило сжечь

Все препятствия и все препоны,
Вопреки всем бредням и уставам,
Перешло. Но слишком поздно.
Голубого снегиря не стало.

Вопреки всем правдам и неправдам
Верила в распятье на кресте.
Улетел. Игра без правил,
Вопреки любви и красоте.

ПОТЕРЯННАЯ РАДОСТЬ

Может быть, эта радость придет,
А, быть может, и нет,
Всё равно навсегда этот свет,
Этот мрак,
Это черное солнце в душе.
Ты не помнишь меня,
Я забыла тебя,
В темноте, ослепленные светом,
Мы не видим друг друга —

Давно не нужны на земле
Влюбленные и поэты.
Знаю я, оборвется непрочная нить
Между сердцем и сердцем,
Оборвется и стихнет

Мой крик,
Кто-то мягкий и серый придет
Этот мир паутиной обвить.
Слышишь, падают капли —
То дождь или слезы?
Человечество плачет
Сухими глазами,
И не песни — веревки
Сплетают и судьбы и люди..
Души умерших стыдятся живых.
Может быть эта радость
Истаяла облачком пара,
Может быть, она нищей
Стоит у ворот.

Медный колокол бьет,
Раскрывается сердце, и память
Сторожит на часах
Погребенные сердцем стихи.
Мир стреляет в поэтов,
Хоронит их в общей могиле,
Ставит крест вольным песням —
Поэтам не ставят креста,
Ослепленные светом
Во мраке живут миллионы,
Не слышавшие песен,
Кроме песен кнута
Или из-под кнута.

* * *
 Ссадина в сердце
 А день серый
 Серый как губы негра
 Ссадина в сердце и негра
 Горькая
 Голуби ходят по городу
 Голуби холёные и гордые
 Жирные в жестких перьях
 Жимолости не место в горнице
 И ты у меня не первый
 И день серый
 Ссадина в сердце
 Боль невесомая
 Но ведь есть же солнце
 И есть совесть
 И не нужно сетовать
 А день серый
 И ходят сытые голуби
 В городе сыро и холодно
 В городе сыро
 Голодные сыты
 Чего-то стыдно
 И всё постыло
 Я лоблю тебя
 Как всё просто
 Прости мне мою пропасть
 Я не жду и не стражду
 Всего лишь ссадина в сердце
 На перекрестке
 День замешался серый
 Страшный

* * *
 Голубого не было
 Была боль
 Синее остыло
 И умер бог
 Желтое жеманилось
 В рамках разума
 Маялось манией
 Погоней за радостью
 Фиолетовое лентой
 Сплетало ласки
 Таяло летом
 В полетах ласточки
 Зеленое злилось
 И не исчезло
 И всюду незримо
 Улыбалась жалость
 Алое ластыком
 Стирало небо
 А главное — счастья
 Голубого — не было

• •
•

Этой ночью было очень страшно
Очень пить хотелось и огня
Я ведь не жалую и не стражду
Чтобы ты простил меня

В эту ночь мне снились горностаи
Белые на белой простыне
Голубой-Вечерний свечку ставил
И чертил узоры на стене

Тени испуганные метались
На сосновом темном потолке
Белые ручные горностаи
Сладко спали на моей руке

Ласковыми мягкими хвостами
Щекотали гладили меня
Белые грудные горностаи
На измятых белых простынях

Голубой-Вечерний пил как воду
Губы пересохшие мои
На исходе золотого года
Безысходность золота Аи

Свечка догорала воск растаял
Очень пить хотелось и огня
Ночью мне приснились горностаи
Белые на белых простынях

• •
•

Пусть земля станет зеркалом
Голубым и бесстрастным
И весь мир опрокинется
В неподвижных зрачках
Приникну нагая
Затуманю дыханьем
И стисну пленцом
в раковинах руках

Ты моя жемчужина
Коричневая на розовом
Всё не-Я чуждо мне
А ты звучишь на земле проталиной
Лепестками розы
Горю не стораю
в твоей ночи

Ну моя хорошая
Голос протяжен
Голубиной дрожи
Губам не унять
Хочу неиспрощенного
Невесомой тяжести
В зеркале как в пропасти
возьми меня

* * *
 *
 Далеко в тумане
 За Таманью
 Море мается у берегов
 Ставшее навязчивым
 Как мания
 Неотступным
 Как воспоминание
 В разноцветном ритме маяков
 Далеко в тумане
 За Таманью
 Море мнется мнится
 Мечет манит
 Я молюсь у полотна Тамайю
 Легкая ненужная и маленькая
 Мне всегда и всюду будет мало
 Иступленность красок густовидных
 Я молюсь у полотна Руфино
 Верю в нежность и больших и малых
 Знаю силу заклинаний магов
 А конца по-прежнему не видно
 Но ведь есть же море за Таманью
 А за морем Турция-Османия
 И в зеленом с охрою тумане
 В отрешенности молитв и мистики
 Красная на золотом Испания
 До свидания
 До встречи в Мексике

* * *
 *
 На желтом песке
 На желтом песке
 Белая раковина тела
 На синем лоскутке
 На синем лоскутке
 Перламутр оцарапан губами
 Избавь избавь меня
 От желаний и жалобы времени
 Желтый сочится песок
 На синие чаши весов
 Медленно медленно
 Возьми золотые цветы
 Я капля на теле твоём
 Песчинка
 А мир — это ты
 Он чистый
 И теплый
 Как тело твоё
 Оцарапанное губами

МОЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

Снег осыпается под твоими ногами,
 Смех рассыпается колокольчиком мелким...
 Зачем ты клянешься ветхими богами
 И молитвы пишешь на стенах мелом?
 Зачем ты падаешь ниц на землю?
 Зачем ты смотришь с надеждой в небо?
 Тебе приснилась весенняя зелень
 Или обессилила сытая нега?!
 Зачем ты считаешь зерна в колосьях?
 Зачем ты мнешь цветы каблуками?
 Или в тебе не осталось злости!..
 Или сердце превратилось в камень?
 Снег осыпается под твоими ногами,
 С неба падает дождь весенний.
 Зачем ты клянешься чужими богами
 И жнешь урожай, не тобою сеянный?
 Смех рассыпается колокольчиком мелким,
 Смелым снится весна и зелень —
 Где же твой колокол звонко-медный,
 Точка опоры, перевернувшая землю?!

Ю. Галансков

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ

(Поэма)

1

Всё чаще и чаще в ночной тиши
 вдруг начинаю рыдать.
 Ведь даже крупицу богатств души
 уже невозможно отдать.
 Никому не нужно:
 в поисках Идиота
 так измощаешься за день!
 А люди идут, отработав,
 туда, где деньги и бляди.
 И пусть.
 Сквозь людскую лавину
 я пройду, непохожий, один —
 как будто кусок рубина,
 сверкающий между льдин.
 Небо!
 Хочу сиять я.
 Ночью мне разреши
 на бархате черного платья
 рассыпать алмазы души.

2

Министрам, вождям и газетам — не верьте!
 Вставайте, лежащие ниц!
 Видите — шарик атомной смерти
 у мира в могилах глазниц.
 Вставайте!
 Вставайте!
 Вставайте!
 О, алая кровь бунтарства!
 Идите и долوماйте
 гнилую тюрьму государства!

Идите по трупам пугливых
тащить для голодных людей
черные бомбы, как сливы,
на блюдища площадей.

3

Где они —
те, кто нужны,
чтобы горло пушек зажать;
чтобы вырезать язвы войны
священным ножом мятежа.
Где они?
Где они?
Где они?
Или их вовсе нет? —
Вон — у станков их тени
прикованы горстью монет.

4

Человек исчез.
Ничтожный, как муха,
он еле шевелится в строчках книг.
Выйду на площадь
и городу в ухо
втисну отчаянья крик...
А потом, пистолет достав,
прижму его крепко к виску...
Не дам никому растоптать
души белоснежный лоскут.
Люди!
Оставьте, не надо...
Бросьте меня утешать.
Всё равно среди вашего ада
мне уже нечем дышать!
Приветствуйте Подлость и Голод!
А я, поваленный наземь,
плюю в ваш железный город,
набитый деньгами и грязью.

5

Небо!
Не знаю, что делаю...
Мне бы карающий нож!
Видишь, как кто-то на белое
выплеснул черную ложь.
Видишь,
как вечера тьма
жуёт окровавленный стяг...
И жизнь страшна, как тюрьма,
воздвигнутая на костях.
Падаю!
Падаю!
Падаю!
Вам оставляю лысеть.
Не стану питаться падалью —
как все.
Не стану кишкам на потребу
плоды на могилах срезать.
Не нужно мне вашего хлеба,
замешанного на слезах.
И падаю, и взлетаю
в полубреду,
в полусне...
И чувствую, как расцветает
человеческое
во мне.

6

Привыкли видеть,
расхаживая
вдоль улиц в свободный час,
лица, жизнью изгаженные,
такие же, как у вас.
И вдруг —
словно грома раскаты
и словно явление миру Христа —
восстала
растоптанная и распятая

человеческая красота.

Это — я,
призывающий к правде и бунту,
не желающий больше служить,
рву ваши черные путы,
солканные из лжи.

Это — я,
законом закованный,
кричу человеческий манифест!
И пусть мне ворон выклевывает
на мраморе тела
крест!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

1. Не дай убить!

Москва!
Нью-Йорк!
Каир!
Войну отвергают все.
Но, будто бы белка, измученный мир
Вертится в пушечном колесе.
Птицы петиций.
И что же?
Наплевано в лицо анкет.
Хотят человеческой кожей
Облигивать тело ракет.
А люди —
Всесильные люди!
Шатаюсь на паре костей,
Несут материнские груди
Вскармливать медных детей...
Стойте, скоты!
В деревянный острог
Загонят,
Привяжут веревкой:
Ударит уверенно между рог
Палач, умудренный сноровкой.
Потом, в руке железо сжав,
Уверенный и властный,
Повяжет лезвием ножа
На шею бантик красный.
Не дай убить!
Взречи, чтоб глохли,
Узлами мускулы связав,
Срываи ремни,
Ломай оглобли,
С кровавой сеткой на глазах.
Сжигае в ноздрях гнева пламя,
Роня пену изо рта,
Вздьмай же голову, как знамя,
Кипки на шею намотав!

2. За революцией — революция...

Казалось, все те же уставшие лица,
 Все те же чувства
 И мысли все те же.
 А я утверждаю, что где-то таится
 Огромный
 Всемирный
 Мятеж.
 Над бомбами вырос вопрос,
 И мир в ожидании затих.
 Поэты себе под нос
 Бубнили старинный стих,
 Кричали ура,
 Бились в истерике,
 Делали венчиком альые губы...
 И вдруг —
 В ослабевших руках Америки
 Кровью окрасился сахар Кубы.
 В груди пирамид заиграла труба,
 Сфинкс пробудился и вышел из мрака.
 И, будто бы факел в руках раба,
 Вспыхнула нефть Ирака.
 Европа казалась распятой,
 Но прорастали росточки.
 Диктаторы и дипломаты
 Дрожали на атомной бочке.
 Голод,
 Болезнь,
 Усталость
 Повисли над миром виной.
 Я чувствовал, что осталось
 Последнее слово за Мной.

3. Долой пессимистов!

Может быть,
 В прокаженные города
 Я приду ненужным врачом
 И пойму, что мир навсегда
 Страдать и стрелять обречен.
 Но, по-моему, нет и нет!..

Посмотрите, какая заря!
 И какой, посмотрите, рассвет! —
 Ожидает Меня — Бунтаря.
 Приду,
 Принесу генералам блюдо
 Из грубого Марсова мяса.
 И переделывать бомбы буду
 В сочные ананасы.
 Пройду сквозь запутанность лабиринтов
 Сорвать и отбросить решетки тюрьмы.
 И крысы рванутся из рук лаборантов
 К горлу творцов чумы.
 И не зло, а музейную ношу —
 Супербомбы,
 Язвы
 И туберкулез —
 Принесу и небрежно брошу
 Пессимистам, мокрым от слез.
 1960 г.

А. Иванов

• •
•

Знаю, можно мне руки скрутить,
Знаю, можно мне выбить зубы,
Но все ж я попробую прикурить
О ваши шипящие губы.

• •
•

Вечерами, когда за окном
Сибирская воев вьюга,
За стол мы с тобой вдвоем
Садимся друг против друга.
Товарищ, не лги, не лги,
Что жизнь другая возможна —
Под глазами уже крути,
В сердце пасмурно и тревожно...

• •
•

На черном — белые бусы,
На смуглом — траур бровей.
Губ красные ленты смеются,
А глаза все грустней и грустней...
Не удержишь, схватив за запястье!
Последняя электричка,
Последняя надежда на счастье,
Последняя сигарета и свичка.
«Можно присесть?» — «Садитесь».
«Можно взглянуть в глаза?»
Молчанье. Лишь копыны листьев
За окном нам бросал вокзал.

М. Вербин

ВОЙНА

(Бред раненого)

Я обвиняю от имени нищих
И монументов, застывших в нишах,
От имени женских кровавых сосков,
От имени выдернутых ногтей,
От имени не успевших родиться

Я обвиняю в происшедшем людей!

Ваше последнее слово!

1

Сегодня лоб мой пуст!
Пусть — не беда.
Еда — заправка чувств —
Мне не чужда.
Чудак чуда не сделает:
Дело ведь, дело ведь чудо!
Блюдо мыслей белое,
Бел и я, как блюдо.
Люд блудлив.
Ливень олив весел.
Летом лес не красив —
Сив,
но чудесен.
Песен мне!
В сене душистом,
Чисто и мглистом вполне.
Пол?
Не чист он!
Песен мне!
Песен? Слушай —
Лужи шлепают,
Ждут, когда капли раздавят раму.
Слушай!

Немцы в Севастополе

жгут панораму!

Песен мне!

Песен, больших и ласковых!

Прощу вас, спойте, спойте мне!

Слушай!

Герострат в оловянной каске

Смеется и пляшет в косматом огне!

Бам! Кораблей покосились мачты!

Бам! Неужели так мир!

Мальчик! Чего же ты плачешь, мальчик?

Песен мне!

Слушай песенку!

«Детство, отдыхая в старой клетке,

Превратилось в петел от жары.

А вдали на обнаженной ветке,

Деловито плачут снегири,

Поднимая клювики устало.

И летит в далекие края

Вместе с этой песней, песней старой,

Жизнь моя и молодость твоя!»

Может быть, мысли случайно спуганы?

— Нет!

Но мы ведь грядущего спутники.

Сателлит телом свят.

Свет свят силой,

Илом и ротой солдат.

Соли дать им в могилы?

Рябой ребенок

Ряб елот.

Бинокль звонок

Обрывками нот.

Нож нет.

Нем язык.

Зыкни, свет —

Сверь азы.

2

Война!

Человечества черная маска.

Мессу павшим!

Певчих масса.

Рты дрожавших.

Вы, в окружении коктейлей,

Ласкою женской угрюмы,

О нашей судьбе не хотели

Вспомнить в угаре рюмок?

Брови тянутся за

соломинкой.

Вспомните, вспомните, вспомните!

Глянув на свой ожиревший живот —

Живы мы.

С розовыми глазами нарастапку,

Уставшие плакать и петь.

Пятна крови на детской рубашке,

Трехлетний ребенок, начавший сесть.

В чьи-то колени блоеете, хрипите,

Вспомните про нас,

Не хотите?

Вспомните про нас —

Мы ведь живем

Под аккомпанемент снарядов и бомб.

Из-за вашей прихоти родились,

Из-за нее мучаемся,

Неужели крика: «Разойдись!»

Будут слушаться даже тучи?

Нет!

Нет!!

Нет!!!

Не будет этого.

Если все мы страдальцы планет,

То вокруг все наше, планетово.

Закройте двери!

Раскройте уши —

Будем говорить мы.

С-Л-У-Ш-А-Т-Ь!

Будем творить мысль!

Вылезайте из колясок,

Вылезайте из пеленок,
 Вы, не видевшие ласк,
 Чье прозвание ребенок!
 Мы — грядущее планеты —
 Родились под свист, под грохот.
 К черту желтые монеты!
 (Хот-
 хот!)

Кров из крови хотите сделать?
 Не выйдет, не выйдет!

Слышите, вы!

Вылезайте, милые,
 Когда-то белые,
 А теперь красные от крови!
 Слушать!
 Мысли бровями подернуты,
 Брови мыслями трубят!

А жизнь с настойчивостью поденщицы
 Кидает

бомбы

в кровати ребят.

Для вас это новость?
 Врете, не новость!
 Ваше последнее слово!!!

ЛЕТО

Окна в бумаге.
 Волнуется народ.
 «Назад ни шагу!»
 (Вперед — не идет!)
 Сверкали крыши
 В огне, в пыли.
 Зеленые крылья
 По полю ползли.
 У них своя отрывка,
 У них своя мечта.
 Свинцовая короста
 И больше ни черта.
 Крысиная отрывка
 За тридевять земель,
 В подвале мальчишка
 Мечтает о зиме.
 Мечтает о морозе,
 Грустит про лед.
 Свинцовые монокли
 Мечту бьют влёт.

Утро сияло, как медное, —
 Окна щгорами жмурятся.
 Кто-то выписал мелом
 Имя твое на улицах.

Солнцем в сторону скошенный,
 День, задыхаясь, встает.
 Толстые дяди
 Калошами
 Топчут
 Имя
 Твое.

Н. Горбаневская

Рыбари невод раскинули...

А невода полным-полны,
Крутом и всюду невода,
И в модный цвет морской волны
Внутри их крашена вода.

А невода кишмя-кишат
Поэтами. И всех оттенков
Иною рыбой. И лежат
Хвосты наперек простенков.

А невода полным-полны.
Мой друг, тебе грозит беда.
Обманчив цвет морской волны,
Крутом и всюду невода.

Мечтательные недоноски
Купались в теплом молоке,
И сохли жеванные соски
В кривой откинутой руке.

Горами двигая, и плача,
И выставя себя на срам,
Ко мне брела моя удача
По этим сдвинутым горам.

А в небесах, как призрак гордый
Или безумный крик «люблю»,
Широкогорлый, длинногорбый,
Качался розовый верблюд.

Какую музыку играют
в этих кафе!
Но в самом деле —
не играть же Моцарта
в этих кафе.

Подпрыгивает белый бантик,
и пальцы, как на пиццущей машинке,
стучат по беленьким и черненьким,
стучи, стучи, машинка.
Постриженная современным ежиком,
труби, труби, труби и зазывай,
а скрипка раздирается на части,
а женщина поет, поет, поет
лиловым голосом,
лиловыми губами,
большое лиловое пятно
кольщется
и ходит вдоль.

О друг мой!
Мне становится страшно.
И я говорю: — О друг мой! мне скучно.
И я говорю: — Пойдем, походим
по улицам,
где ходят машины
и ходят люди,
и где машины — это машины,
а люди — это люди,
и падает мокрый снег.

ГРИБНОЙ ДОЖДЬ

*Стихотворение, подобно абстрактной картине,
изображающее взрыв большой атомной бомбы.*

Стоголовым папоротником покачнулся,
оборотни, оборотни заходили ходуном.
Хороводы — водовороты
небо вывернули кверху дном.

Падают с неба птицы,
солнце в водоросли сорвалось,
по лесу прыгают серые волки,
воет в болоте лось.
Боже! Господи! Где ж Ты!
Рваная, мокрая изнанка облаков.
Боже! Господи! Где ж Ты!
И каков?

Лица Твоего в хаосе
не обнаружу. Гром, лес,
лешие спотыкаются,
приплясывают на облаках небес.
Ведьмы зарю изодрали к черту,
окупали клочьями черные бедра.
Земля сейчас перейдет черту
и ринется в воду, не зная броду.

Ах — вот и грибы
стосаженные выросли.
Не сберегли мы, Господи, Твоя милости.

* * *

— Ты проснешься ль, исполненный сил.
Н. Некрасов

А! Многоликий —
да ты оказался безлицым,
безглазый, безгубый, безухий,
и только намек на нос
играет посреди.

Ну и пусть остаются с носом
дура на протертых коленках,
простертые ниц.

Я ухожу по асфальту.
Ухожу по шоссе и по лесу.
По саду и переулку.
Я ухожу от тебя.
Я прохожу сквозь тебя,
как сквозь зеркало!

* * *

В крае Ярослава Осмомысла,
В Галички державными земли,
Уронила дева коромысло,
Расплеснула воду по земле.

Наводнены степи конским храпом,
Обнялися дымом города,
По кровавым заднепровским тропам
Двигается Батыева орда.

Задрожали тонкие осины
Над своим любимым ненаглядным...

И поньне русы и русины
Кососкулы и нетверды взглядом.

* * *

Изнеможение любви,
Крути, хрусти плечами сведенными
И эту девочку сорви
Со стебелька ее неведенья.

Она, как зимняя река,
Волненью неоткуда взяться,
Но хльнет лед, и облака
В ее глубинах отразятся.

Тогда следи и стереги
В надрыве голоса высоком,
Как истекают белым соком
Надломленные стебельки...

И дует ветер вдоль реки.

* * *

Перелистай меня до корочки
И, если хочешь, изорви,
Чтобы очков моих осколочки
Тихонько плавали в крови.

Переверни меня до листика,
Чтоб буквы прыгали и цльли,
Чтобы, как губы эпидемтика,
Страницы пеною заплыли.

Но что тогда, но что с тобой
случится,

Когда я выгляну, я гляну
из окна

И ты, неполучившийся убийца,
Опустишь руки и скажешь
«не она...»

И. Харабаров

Они печальные и призрачные,
Они — краса и скорбь земли,
Как думы вольные, непризнанные,
Как песня и мечты мои.

.....
Сюда приходят люди сильные,
Чтоб, отправляясь в дальний путь,
Взойти на эти кручи сизие
И на земную ширь взглянуть.
Здесь люди, с масляными красками,
Свои выводят имена.
Как много жаждущих бессмертья,
Завистливых и мелких душ!
Но дождь смывает все бесследно —
Чернила, краски, грязь и тушь.
И вновь глядят вершины горные
На звезды, тучи и огни.
Лишь тучи чистые и гордые
Их вечной белизне сродни!

• •
•

Бетховен. А хлопают не Бетховену, а дирижеру. Великим людям так редко хлопают. Слабое бис. О эти великие! Мы очень любим великих величие. Ведь это из-за великих мы так малы. Если бы на свете не было маленьких женщин, не было бы и больших.

Цвет и музыка. Япония. А сколько там озер, интересно. За-ливая водой пастель.

Похороны любви. Вы говорите, люди боятся смерти: ведь в ней они одиноки. Одиночества вой. Одни ночи с тобой. Но почему же люди не хотят любить, ведь когда любишь, то ты наверное не один. Боятся. Наша жизнь — это собрание анекдотов, несчастных случаев и банальных историй.

• •
•

Государство старается обмануть людей. Люди стараются обманывать государство и наоборот и еще раз наоборот. Маленького мальчика всегда били потому, что он не мог дать сдачи. Мы бьем других потому, что иначе они станут бить нас. Я ударю тебя первый, чтобы ты не ударил меня первым. Мой удар вызовет твой удар. Мой вопрос — твой ответ.

Сто человек стукнулись животами друг об друга с такой силой, что в живых осталось 37 человек. Давай драться!

Надо все испытать, чтобы добраться до Истины. Гора истины, на ночь в ее ущелье прячется от бандитов Солнце. Вот глупое. Ему-то чего бояться.

И уже через час она подумала: Куда, зачем я просила его войти. А еще через пять минут он вспомнил: Куда я мог положить ключ. А дверь была заперта и кто-то очень остроумный повесил над окном надпись

ВЫХОДА НЕТ!

Им ничего не осталось двоим из породы человекообразных волков, как перестраивать свое счастье. Но счастья уже не было: оно было выброшено куда-то вместе с последней бутылкой водки.

• •
•

То ли горе то ли скука
 то ли песня то ли дрожь
И в глазах зеленых мука
 и в окне зеленый дождь
Сон зеленый песня стонет
 губы плачут и поют
Вечер волны ветра тронет
 тучи в небе заплывут
Заплывут и закачают
 одиночеством маня
Месяц милую встречает
 перегнувшись у плетня
То ли горе то ли скука
 то ли песня то ли дрожь
И в глазах зеленых мука
 и в руке зеленый нож.

В. Нильский

Истопленно целую девичьи губы —
— Это — жизнь!
Разбиваю колени о плиты церкви —
— Это — жизнь!

Лик иконный хрякнул —
— Под каблуком.
В оранных сводах треска —
— Под рок-н-ролл!

Опрокинутый апостол??
— В купол не-е-еба!
Наливай пять по сто —
— Пьяным в звон не был!

Ну, а жизнь, что ж?..
— Лебединый крик...
Склей скорее
Христосов лик!..

* * *

*Несись, кувыркаясь,
В ослепительной музыке,
Помня обо всем на свете...*

Ты, которому девятнадцать лет,
Жрущий томатный сок,
Я тебя научу разучивать сонет
Под расстрелянных пуль цокот.

Толстокожие, сколько вас,
Облепили всю площадь: «Новенькое!»
А если не площадь, а плаха-плац?
Зажмурите глазки от кровиньки!

Вы верьте мне, я не маньяк,
Я просто хочу, чтобы вы были
По-настоящему несчастные
и счастливые!

Впереди еще столько драк,
Сенатских площадей и пуль ливней!

В смирительной рубашке бьется Россия!
Но ее никогда не обуздать!
Встаньте!
Сейчас!
В эту ночь синюю...

НАДОЕЛО! ДОВОЛЬНО! ХВАТИТ!

1961 г.

А. Горчаков

* * *

Толпа — табун трибуна.
Топтать в три бунта
Тоски телегу,
И звездных девушек касаться...
Я — пробовал!

Ан. Владимиров

О послушай, послушай! —
Не тебя ли зовут?..
По воде и по суше
Расползается звук.

Звуки сходятся, мнутя...
Голоса, голоса...
Ошалело мнутся
На ветру волоса.

Приближается ропот,
Быть беде, быть беде,
Расползается рокот
По земле, по воде.

Все туманно и сине.
Век крушения вер.
В пресной кобуре стынет
Голубой револьвер.

Мы не верим в Христосов.
Не снуем, не галдим.
С мачт высоких, крестовых
Мы в туманы глядим.

Надвигается грохот,
Расползается звук,
Сльщен рокот и ропот —
Нас зовут, нас зовут.

Мы придем не пустыми
В час свержения вер.
В нашей кобуре стынет
Голубой револьвер.

И. Пересветов

ЛЮДЯМ НУЖЕН КУМИР...

Людям нужен кумир.

Они держатся за него цепко, мертвой хваткой. Добровольные богомазы малюют его портреты. Добровольные проповедники с возвышений возглашают ему хвалу. Почитатели изучают его безгрешное житие, а фанатичные ревнители этой безгрешности рыскают в поисках еретических апокрифов.

Но кумиры ветшают.

И когда люди поймут, наконец, что их кумир не Бог вещь как велик и что они, творцы его, рискуют быть проклятыми вместе со своим идолом, они наглеют и уже без чистой совести, но с удесятеренными силами продолжают свое грязное дело, а ведь (по Виктору Гюго) «так приятно быть блохой на теле льва!»

А. Каранин

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЕВГЕНИЮ ЕВТУШЕНКО

Отрекается от Вас один из той молодежи, которая вняла Вашему призыву «думать о большом и малом». От Вас не будут отрекаться Исаковские и Опшанины, они будут стараться подчиниться, подправить, но из строя они Вас не попросят. Только нам позволяет совесть не принять или принять Вас в наши строящиеся ряды.

Прежде, чем остановиться на Вашем творчестве, выскажу некоторые замечания о назначении поэзии.

Все рупоры человечества твердят, что назначение поэта — служение народу. Такой ли жребий послали поэту его разум и сердце? Я не думаю, что хоть один стоящий поэт подчиняет свою творческую мысль идее служения народу. Но я не знаю о существовании поэтов, которые не понимают, что они живут для народа, а труд народа делает возможным их существование. К тому же, если мы признаем возможность служения поэта народу, то мы беремся утверждать, что музыкант живет для художника, художник для каменщика и т. п. Рассуждая абстрактно, можно

набраться смелости заявлять, что, не служа друг другу, люди не могли бы существовать. Но пользоваться абстракцией может только ученый, изобретающий схему общественного развития, и его возможности ограничены; кроме общих грубых идей, он не может дать ничего конкретного. Факты реальной жизни не терпят насилия абстракции. Всякое служение народу — осознанная или не осознанная ложь. Этим мерилom правильности пути поэта, его идейной чистоты, выгодно пользоваться всяким проходимцам государственной власти, которая очень умело отождествляет себя с народом. Сколько талантов обмануто и погублено! Маяковский, и тот не мог отстоять индивидуальность. Хотел шагнуть в ногу с народом и не заметил, как это желание привело его к служению личности, установившей диктатуру над народом. Очень хорошо, что его служение не зашло так далеко, а то, возможно, пришлось бы ему запивать вместе с Исаковским и Опшаниным.

Исходя из этого очень примечательного факта, поэты должны признать, что служба возможна только в армейских казармах, политических учреждениях и церквях. Поэт не должен сливаться с государственной властью. Сливаясь с ней, он теряет свою индивидуальность, превращается в работника стандартного конвейера, цель которого — прямая апологетика государственной власти, а следовательно и всех пороков, которые она в себе несет.

Служение поэта народу, как чему-то цельному, невозможно еще и по той причине, что народ никогда — ни по экономическому положению, ни по интеллектуальному развитию — не представлял из себя единого целого. Разве если только назвать общество индивидов единством народа. Средний культурный уровень народа отстает от уровня развития его передовой части. Поэтому всякое приспособление поэтом своего творчества ко вкусу народному превращает поэта в простого ремесленника, губит его, индивидуальность поэта непримирима с ложью. Поэтому я ратую за условия, которые способствуют развитию индивида. Какие бы «мнения» ни высказывал «индивид», мы не можем не назвать их жизненной правдой. Но заметим, что не всякая индивидуальность определяет влияние поэта на формирование и развитие общественной мысли. Ведь мещанин, рассиюскавая свой бытик, выражает то, что действительно наполняет его жизнь. Но такие сюсюкальнички не менее вредны обществу, чем изверившиеся догмами спецы по части того, КОМУ, КОГДА хвалебный гимн исполнить. X

Таким образом, критерием полезности поэта обществу может служить та правда, которую содержит всё новое, нарождающееся.

Заметить новое, нарождающееся, поверить в него, набраться мужества признать ветхость старых догм — вот поле деятельности поэта нашей эпохи.

Чувствует ли Ваше творчество какие-либо новые тенденции?

Просматриваю поэму «Станция Зима». Смутное и тяжелое время нашло свое отражение в этой поэме. 1953 год! Судороги рыданий сковали Россию. Она провожает в последний путь «учителя и вождя всего прогрессивного человечества». Политики воздают последнюю дань, клянясь в верности «отцу земли Русской», и укладывают своего собрата в мавзолей.

Россию мучит один вопрос: «что же дальше?» Дальше оказывается все очень просто. Выявляется, что друг прогрессивного человечества правил в стране, как в вотчине своей. Начинается искоренение ошибок. Дорого же обошлись тебе, Россия, эти ошибки. Они поглотили миллионы лучших твоих сынов. Поэма хороша тем, что она не уводит от набравших вопросов. Кое-кому хотелось, чтобы Россия, вступая в борьбу с культом личности, не очень-то раздумывала о причинах, его породивших. Но не тут-то было. Ум разбужен.

Россия осмысливает свой путь, начиная с 1917 года. Революция! Народ думал, захватив власть, сразу добиться правды и хлеба. Всё казалось очень просто: сбросим буржуев — и наш мы новый мир построим. Партия большевиков сумела вселить веру в возможность быстрого осуществления принципа равенства и справедливости. И, что замечательно, мы с любовью и грустью смотрим на тех «ершистых и колючих», которые, взяв Зимний, думали на следующий день

«построиться,
знамена развернуть,
«Интернационал»
и солнце в трубы,
и весь в цветах —
прямой к Коммуне
путь».

У нас улыбки на лицах не от того, что мы не верим в возможность развернуть знамена и идти прямо в коммуны. Мы именно за прямой путь в Коммуну, а не за тот, отмеченный ложью и подлостью, который нам пытаются всучить.

«Папахи и бескозырки», шедшие за революцию бескорыстно, вглядываются в жизнь деревни, пытаются отыскать какие-то новые черты. Крестьян, вдохновленных решениями партии на трудовые подвиги, они что-то не встречают. Их взгляд останавли-

вается и «на заборе с нехорошей надписью», и на пьяном, распростершимся у чайной. Они не пропускают без внимания «у раймага в очереди спор».

Почему-то встает вопрос о молодежи, о комсомоле. И молодежь не та, нет в ней свежих мыслей и смелых споров, и комсомол превратился в придаток государственной власти.

Вас возмущает бюрократическая душа председателя колхоза. Свои симпатии и надежды Вы обращаете на молодого парня, который не хочет «вращаться в виллис, как в президиум», и идет искать правду в Иркутск.

На вопрос, в чем назначение писателя, Вы смело подмечаете, что писатель превратился в жандарма духа:

...«Что сейчас писатель?
Он не властитель,
а блюститель дум».

С этим перекликается неверие в искренность новых перемен. Правильно замечаете!

«Твердим о том, о чем вчера молчали,
молчим о том, что делали вчера».

Как ни оформляй новые трюки, переход подлинности в ложь остается неопровержимым фактом.

Ваша поэма полезна тем, что она срывает покрывало с тех предметов, которые не положено видеть. Она будит мысль, и мы с великим удовольствием внимаем Вашим призывам:

«Давайте думать,
великое не может быть обманом».

Но уже в этой поэме чувствуется раздвоенность, надуманность, отсутствие твердых убеждений, которые так ярко проявляются в последующих стихах. Вы раскрываете ложь и подлость, ставшие законом в жизни России, переродившие идеи революции, но Вы склонны питать иллюзии, что достаточно подчистить и идеи примут прежний блеск.

Молодой, босоногий парень с «рогатиной на плече», по-Вашему, представляет силу, способную добиться правды: ...и тогда держись, бюрократия! Но, даже учитывая все внутренние противоречия этой поэмы, нельзя не заметить, что она имеет весьма

существенные оттепели. И, всегда в таких случаях, все надежды связаны с ожидаемой весной. Но увы! Весна пришла совсем не такая, которую ждали.

В течение некоторого периода Вы пытаетесь заставить себя распевать в тех тонах, которые характерны для поэмы. Призываете не забывать «тревоги века», спорить и думать «о путях России прежней и о сегодняшней о ней».

Вы стараетесь идти в ногу с временем, поэтому Ваш ум не оставляет без внимания «век скорбных и смутных дум», которые несет в себе молодежь.

Вас мучает забота о благе ближнего, и Вы предлагаете поверить в правду «молота и лемеха». Благородные мечты! Но боюсь, что Вы плохо готовы к политбеседе в таком духе.

Хотя, впрочем, начинают проявляться задатки будущего партийного работника. Правда, еще есть некоторые сомнения. Но ничего, время их обсосет.

Стремление стать в ряды «лучших из поколения» трубачом, готовым в наступлении сменить «трубу на винтовку», пересыпается желанием всех удивлять:

«Ах, как хочется удивляться!
Ах, как хочется удивлять!»

Любовь к удаче приводит к воспеванию партии, которая умеет вовремя мобилизовать массы на подъем.

Вы — хамелеон нового типа. Впрочем, верность доктрине делает хамелеонство законом всякого развития.

Партия искореняет ошибки, стремясь догнать и перегнать, направляет всю энергию, волю и ум на коммунистическое воспитание молодежи, и Вы сразу же устремляетесь на Дальний Восток и попутно заглядываете на станцию Зима, — вновь набраться духа трудового народа. В Хабаровске всё пестрит и улыбается, хабаровчане «собой и городом горды». Внутренне «обогатившись», Вы обрушиваете свой гнев против тех, кто не уверен, что юность комсомола вечна. В последних стихах Вы, правда, воспеваете «нигилиста» (впрочем, двуличного: одного — на площади Маяковского, и совсем другого — в официозе для старших школьников), «любившего Пикассо и не любившего Герасимова». Впрочем, не буду забегать вперед, выложу впечатления о поэме «Откуда вы?»

Для Вас не стало никаких сомнений — все вопросы решены. Удивительная прозорливость наталкивает Вас на мысль, что есть комсомол «сонливых мещан» и деятелей с «наигранным огнем».

«Наш настоящий комсомол
еще моложе стал, чем раньше,
он юность вечную обрел».

Верность комсомольской дисциплине духа, желание побороть в себе «возмутительную нелогичность», призывают Вас простить ошибки отцов, пойти к ним на выучку.

Какие ошибки каких отцов Вы призываете нас простить? Тех «нелюбимых солдат», которые шли на Зимний, или тех, что, прикрываясь «именем революции, расстреливали революцию»?

Теперь все ручки для Вас становятся живыми и все лягушки — Царевнами.

Гниль и маразм Вы склонны объявить признаками роста. Сытое свинство — тактическим ходом. Заканчивается поэма призывом к единству перед памятью отцов. И на вопрос «Откуда вы?» мы узнаем, что

«Из государства
Москвы,
Хабаровска,
крестьянство мы
и пролетарство
и государство это — мы!»

«Святой Лаврентий» и тот не осмелился утверждать, что государство — это мы. Он откровенно своими действиями показал, что на первом этапе коммунистического строительства государство и он нераздельны, а что будет на втором, завершающем этапе — для него не важно. Ко всему двулично Януса применяется изрядная доля секса. Надо отдать должное Вашему поэтическому таланту: смазливые девочки тают при виде Вас и Вашей «расстеленной — растерянной». В этом вопросе Вы также не способны стать выше пороков нашего общества.

Всюду по течению и нигде против — вот Ваше кредо. Но по характеру Вы — новейший тип мещанина. А мещанин любит копаться в старом барахле. Так вот и Вы из старого барахла скроили поэму «Считайте меня коммунистом».

Некоторые находят ее многословной. По-моему, эти люди чувствуют не многословность, а напыщенную искренность. Вы как будто пытаетесь из себя что-нибудь выдавить, но это что-нибудь должно быть обязательно революционным. И Вы вспоминаете «нелюбимых и ершистых», которые «не вьются у столов».

Вы сражаетесь налево и направо «с двуликими Янусами», которым «не важно, что власть советская, а важно то, что власть». Но разве такая перманентная кадриль с передышкой не есть тактика двуликого Януса?

Впрочем, Вы сами себя выдаете:

«И лезут в соколы ужи,
сменив с учетом современности
приспособленчество ко лжи
приспособленчеством ко смелости».

А. Яковлев

БЕГЛЫЕ ЗАМЕТКИ О СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ

Плоско, поверхностно, обще. Рифмуются первые попавшиеся слова. Нет работы ни над внешним материалом (активное вторжение в жизнь), ни над словом (активное вторжение в технику). В стихах не нужен смысл, не нужна логика. Не этого требует время. Самозвучание, неопределенные ассоциации, догадки представляют больший интерес, дают новизну и заставляют думать. Непривычность соединения слов несет определенную поэтическую нагрузку, в то время как избитая, ставшая пропиханной истиной мысль работает вхолостую.

Новизну дает не затасканное слово, а новое слово. Новое слово дает новую мысль. Новая мысль дает новое в жизни. Если поэт увидел новое в жизни и нацепил на это слово — он оригинален, он классик (в определенном масштабе). Но можно искать новое и в старом содержании. Это — путь через колорит слов, через оттенки значения слова, через работу над своим образным выбором слов для знакомого содержания.

Стих бездарен, если в нем нет ни новых мыслей, ни нового выражения старых. Оппозиционные стихи (пример — Рылеев «Я ль буду в роковое время...») — новые мысли, новые тема и содержание. Они могут быть без всяких оттенков и тональности значений слов — прямы, просты, красивы, как у Пушкина. И для своего времени они будут новыми и интересными. Но пройдет время, и они будут удовлетворять лишь нашу историко-революционную, литературно-стилевую любознательность. Если же

они будут служить образцом для следующих поэтов — наступит эпоха эпигонов.

Поэзия — это искусство слова. А если так, то важно:

1. Что в поэзии служит объектом этого искусства и
2. как этот объект выражен словом.

Т. е. важны степень интеллектуального развития поэта (его умение наблюдать) и степень формального достоинства его искусства.

Найти новые темы и то трудно в наше время тотальной регламентации, и уж отразить их поэтически еще труднее. Пример: «Гляжу в окно, там ветер перебирает паутину тонких ветвей березы. Ветви голы, как нитки». Как назвать это? Чувствую: я нечто, что обладает желанием назвать, а это (береза) — мертвая для меня. У меня еще нет такой возможности. А она дается не взглядением вот сейчас, вот на это. Такое глядение дает лишь ходячие, поверхностные наброски (эскизы, как говорят художники). Эта возможность дается опытом ряда названий и знанием аналогичного опыта других, т. е. школой.

Я могу назвать увиденное так, как называют мои учителя, подобные им. Я могу даже повторяться с ними в тематике (исторические и сельскохозяйственные, мифологические и производственные сюжеты и темы). Но лишь аккумулировав и свой и чужой опыт, освоив все возможности, я могу сказать и свое слово (исключения допускаются для истинного таланта — гения). А пока этого нет, пока наши поэты и поэтессы вместо упорной, требующей самоопределения и самопожертвования творческой работы у алтаря искусства, ходят в шутовских колпаках и играют роль позёров, кривляк и проститутток, нам не суждено услышать живое слово настоящей поэзии.

Что такое настоящая поэзия и кто является настоящим поэтом — не тема этой статьи.

АННОТАЦИЯ НА «КОКТЕЙЛЬ»

В начале декабря в Москве вышел новый поэтический сборник «Коктейль». Как сообщает составитель в предисловии, «молодые авторы, средний возраст которых не достигает и 20 лет», объединялись на «общей платформе»:

«цвет — мысль — пластичность».

Небольшой по объему, «Коктейль» собрал стихи семи родственных по стилю поэтов. Их сближает общность мироощущения, очень удачно выраженная поэтом Шерлем:

Всё, что вокруг —
это грустный коктейль
из истины, лжи,
снов и желаний...

Во многих стихах звучат нотки усталости, отрешенности от серых, тусклых будней. Это заметно сказывается на тональности сборника в целом.

Нередко протест авторов проявляется в уходе в мир вольного искусства, в богему. Поэт Яша Синий так заключает стихотворение «Сладкая жизнь»:

Среди разнузданного б.....ва, —
заслуга чья-то иль вина? —
цвело восторженное братство
любви, поэзии, вина.

Люди устали. Мир ждёт грозы, испепеления старого, стывшего.

С прозой приходит обновление,
и сотрясаются миры,
и наступает избавление
от удушающей жары.

Михаил С... «Гроза»

Упадочны, на наш взгляд, этюды поэта С. К. «Озеро» и особенно «Город». В «душном запахе городской осени» поэт видит «яд однообразия», признаки умерщвления, «оскудения личности».

В отдельных стихах («Символ», «Видение» и др.) чувствуется интонация подражания поэтам предреволюционного периода, что, впрочем, находит глубокое и естественное объяснение.

В заключение короткой аннотации хочется отметить приятное оформление сборника, прекрасно гармонирующее с его содержанием.

«Коктейль» выпущен небольшим тиражом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

журнала «Феникс»

	Стр.
Стефан Цвейг — Полифем, пер. с нем. Н. Нора	88
Б. Пастернак — Одно стихотворение Из автобиографии	90 91
Ю. Стефанов — Песня о пауке Рушатся цепи прогресса... Царевна-Волхова	98 101 103
В. Ковшин — Я хочу туда, где цветет... Сломили клоуну ноги... Почему колонны круглы... Осколок черного дома... Не слышал я звон монет... Вы видите, плохие люди... Мы с тобой почти калеки... Мне говорили «не надо»... В пыльных окнах завода... Было темно и страшно... Хорошая ты... Мне говорят, что молод... После забытой речи... Мы попрощались и встали на разных щеках улицы...	104 104 105 105 105 106 107 108 109 110 111 112 113 113
С. Красовицкий — Импровизация И конечно барсучье лето... О, весна... Отражаясь в собственном ботинке... Птичьи крики детей на снегу... В брод	114 115 116 116 117 118
В. Хромов — Запльли жиром складки дома... Колокольня внахлест отчитала число... Тем не менее темнеет... Пустынный череп космогона...	119 120 120 121
Л. Чертков — Солнце — как сохнет калиновый цвет...	122
А. Петров — Эх, романтика, синий дым...	123
М. Мерцалов — Люди Африки — черные люди... Слова, слова — безликое число...	123 124
Н. Нор — Моим друзьям Если вдруг за мною явитесь вы... Нас очень мало. Мы очень слабы... Нам не дано поехать по Европе...	124 125 126 126
А. Щукин — Люди, слушайте! (поэма) Оранжевый	127 131
А. Шуг — Звуки В ответ на это... В голубые одежды надежды...	133 136 137
В. Калугин — Творчество: Песня о птице. Молитва моря. Солнце расколосось на миллионы... Невидимка	137

А. Онежская	— Всадники без головы	140
	Московское золотого	141
	Вопреки утрекам и попрекам...	142
	Потерянная радость	142
	Счастья в сердце...	144
	Голубого не было...	145
	Этой ночью было очень страшно...	146
	Пусть земля станет зеркалом...	147
	Далеко в тумане...	148
	На желтом песке...	149
	Моему поколению	150
Ю. Галайков	— Человеческий манифест (проза)	151
	Пролетарии всех стран соединяйтесь!	155
А. Иванов	— Знаю, можно мне руки скрутить...	158
	Вечерами, когда за окном...	158
	На черном — белые бусы...	158
М. Вербин	— Война (бред раненого)	159
	Лето	163
	Утро сияло, как меднос...	163
Н. Горбаневская	— А невода полным-полны...	164
	Мечтательные недоноски...	164
	Какую музыку играют...	165
	О друг мой...	165
	Грибной дождь	166
	А! Многоликий...	167
	В крае Ярослава Осмомысла...	167
	Опять в висках бессоница гудит...	168
	Мне горе сводит губы...	169
	В некрологе написано — поэт...	169
	Изнеможение любви...	170
	Переживай меня до корочки...	170
И. Харабаров	— Они печальные и призрачные...	171
	Как ты печально мартовское утро...	172
	В сугробах и лесах затерялось...	173
	Как незаметно снег в лесу исчез...	174
	Шли мы с другом по волжским поймам...	174
Э. Эфа	— Творчество	175
	То ли горе, то ли скука...	177
В. Нильский	— Истоплению целую девичьи губы...	177
	Ты, которому девятнадцать лет...	178
А. Горчаков	— Толпа — табуна трибуна...	178
А. Владимиров	— О послушай, послушай...	179
И. Пересветов	— Людям нужен кумир...	180
А. Каранин	— Открытое письмо Евгению Евтушенко	180
А. Яковлев	— Беглые заметки о современной поэзии	186
Аннотация на «Коктейль»		187

Примечание: Оглавление составлено редакцией журнала «Грани».

Литературная критика

Н. Тарасова

„Век крушения вер . . .“

(ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛЕ «ФЕНИКС»)

Передо мной лежит «Феникс». Это подпольный литературный журнал московской молодежи. И первый вопрос, который у меня — случайного читателя — возникает — «Интересно, что же они хотят сказать миру?» — материализуется в слова на первой же странице журнала:

О чем запекшиеся губы?

Какое слово им хотелось?

А текст третьей страницы отвечает и мне и авторам «Феникса» строгим поэтическим заветом:

Пишите правду, чтобы слово жило;

Чтоб под вуалью покрывала

Мысль, закрученная, как пружина,

Вдруг прикоснувшихся —

Убивала.

Пожалуй, завет этот был не только принят сотрудниками к сведению, но и по возможности воплощен в жизнь. «Феникс» своим содержанием если и не убивает, то оглушает: на читателя обрушиваются водопады мыслей и чувств; здесь и отчаянье и надежда, осуждение и бунт, жертвенность и служение, и над всеми этими потоками царит революционность в жизни и в искусстве.

«Феникс» — царство поэтов. Из двадцати четырех авторов — двадцать один выступает на поэтическом поприще. И лишь трое — в качестве публицистов, критиков и теоретиков поэзии.

Как грибы после дождя Венгерской революции, стали возникать в России подпольные молодежные журналы: «Синтаксис», «Бумеранг», «Феникс», «Спираль», «Коктейль» и другие.

Редактором наиболее известного из них — «Синтаксиса» —